

Сергей
Кузнецов

18+

Хоровод ВОДЫ



Шорт-лист премии
БОЛЬШАЯ КНИГА



Новая русская классика

Сергей Кузнецов

Хоровод воды

«Издательство АСТ»

2005–2009

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Кузнецов С. Ю.

Хоровод воды / С. Ю. Кузнецов — «Издательство АСТ», 2005–2009 — (Новая русская классика)

ISBN 978-5-17-115718-0

Сергей Кузнецов – прозаик, журналист, культуртрегер. Автор романов «Живые и взрослые», «Шкурка бабочки», «Калейдоскоп: расходные материалы» (шорт-лист премий «НОС» и «Новые горизонты»), «Учитель Дымов». Герои романа «Хоровод воды» (шорт-лист премии «Большая книга») – современные жители мегаполиса. У них нет практически ничего общего – только ушедшие поколения предков: каждый из них – часть одной большой семьи. Только не все об этом знают... Время, как толща воды, разделяет людей из разных эпох. Среди них – русский дворянин, ставший чекистом, и продавец обувного магазина, женщина-снайпер и когда-то талантливый, но спившийся художник, бизнесмен-аквариумист и ученый-шестидесятник. В истории огромной семьи нет главных и второстепенных фигур, их судьбы собираются в мощный поток, рисуя причудливый узор русской истории XX века.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-115718-0

© Кузнецов С. Ю., 2005–2009
© Издательство АСТ, 2005–2009

Содержание

| | |
|---|----|
| Пролог | 6 |
| 1. Всегда так | 7 |
| 2. Мой перебьется | 9 |
| 3. Целоваться не мешает? | 12 |
| 4. Напоследок | 16 |
| 5. Альтернативные поминки | 19 |
| Часть первая | 23 |
| 6. Обычный пацан из московских окраин | 24 |
| 7. 1975 год. Сияющие пропасти | 26 |
| 8. Четверга не будет | 28 |
| 9. Ненадежный приют | 34 |
| 10. Реинкарнация. Нина | 36 |
| 11. Мокрый снег | 41 |
| 12. Слава богу, молодость прошла | 45 |
| 13. Бизнес – это выстрел | 50 |
| 14. 1984 год. Мальчик без шпаги | 52 |
| 15. Право на насилие | 55 |
| 16. Маленький гарпун | 58 |
| 17. Когда-то мы были молодыми | 61 |
| 18. Детские сказки | 64 |
| 19. Реинкарнация. Максим | 66 |
| 20. Достойна лучшего | 69 |
| 21. Зомби идет домой | 73 |
| 22. Завтрак потом | 76 |
| 23. Нам хватает | 78 |
| 24. 1971 год. Согласно долгосрочным прогнозам | 80 |
| 25. Лягушка в хлорированной воде | 83 |
| 26. Запотевшее стекло «тойоты» | 87 |
| 27. Как можно не верить в любовь? | 91 |
| 28. 1975 год. Московская элегия | 93 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 95 |

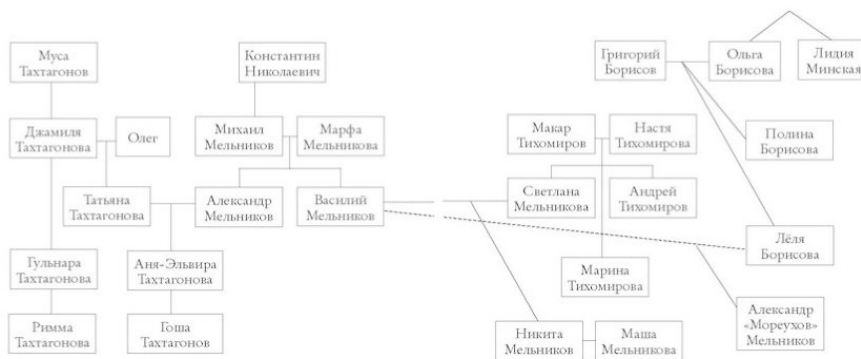
Сергей Юрьевич Кузнецов
Хоровод воды

Моим родным, умершим и живым, с благодарностью и любовью
Катичке, которая изменила мой взгляд на мир
Варваре, с пожеланием счастья и удачи

© Кузнецов С.Ю.

© ООО «Издательство АСТ»

Семейное древо героев романа



Пролог **Словно рыба** **(двухтысячные: похороны)**

Нет ничего пафоснее старого алкаша.
Hellblazer

Многие фильмы начинаются с похорон,
Нужно ведь с чего-то начинать,
И нет лучшего начала, чем какая-нибудь смерть.

Мара Маланова

Александр Васильевич Борисов, он же Мореухов, 1975 г. р.
Никита Васильевич Мельников, 1968 г. р., сводный брат Мореухова по
отцу
Эльвира Александровна Тахтагонова, она же Аня, 1972 г. р., двоюродная
сестра Никиты и Мореухова по отцу
Римма Леонидовна Тахтагонова, 1982 г. р., двоюродная сестра Эльвиры
по матери
Маша Мельникова, 1968 г. р., жена Никиты

1. Всегда так

Когда мой отец умер, говорит Мореухов, я был абсолютно трезв. Впервые в этом году.

Вот и хорошо: две недели назад тело Александра Мельникова затерялось бы среди других мертвых тел.

Посиневшие и распухшие, изъеденные рыбами, изодранные клешнями, изувеченные подводными корягами. Раздутые детские тела – словно уродливые карлики, лохмотья плоти между разлагающихся бедер мужчин и женщин. Они смотрят мертвыми глазами – те, у кого остались глаза. Они поднимаются один за другим, выныривают из придонной тьмы – и течение шевелит волосы, неотличимые от сгнивших водорослей.

Они плывут к нему, тянутся, окружают. Лишенные ногтей пальцы хватают Мореухова за руки, почерневшие языки игриво щекочут шею.

Плесень, слизь, ил.

Все они – только свита. А потом выплывают подводные боги: старик с длинной бородой, чешуйчатыми руками, большими выпуклыми глазами. Еще один, с рыбьим хвостом, витыми рогами, цепкими лягушачьими пальцами, наполовину высунулся из темной воды, хлопает по ней перепончатыми ладонями, брызги тьмы взлетают в воздух. Следом – еще один, верхом на соме, держит усы, будто вожжи. Еще один, еще и еще.

Склизкие, пахнущие болотом и чешуей, они выныривают из мрака: рыбы рты, жабы глаза, висячие усы... они тянут руки, обхватывают, увлекают вниз, на дно, туда, где тьма и чернота, корни, коряги, сгнившие пни, подводные чудища, слизь, липкие объятия, запах страха, запах собственной блевоты.

Надо бы откупиться – да нечем.

Хорошо. Значит, мертвецы и водяные. Это – в самом конце. А что раньше?

Раньше – провал. Никогда не могу вспомнить, разве что случайно. Кажется, виски Red Label. Какая-то блондинка, не помню имени, какое-то очень смешное. Вообще было смешно. Весело. Все-таки Новый год, Рождество, старый Новый год – праздники, все гуляют. Офисный планктон резвится, шампанское пьют прямо на улице.

Значит, вначале было шампанское?

Нет, нет. Я не люблю шампанское. Вначале, как всегда, коктейли, ну, такие, дешевые, в баночках. Типа «Отвертки» и джин-тоника. Иногда – двухлитровка «Очаковского». Я так долго могу – неделю, две, даже месяц. Пока деньги не начнут кончаться.

А потом?

Потом – как всегда. Подхожу к прилавку, ну, знаешь, у меня рядом с домом есть такой магазинчик, «На опушке», я всегда почему-то там бухло покупаю... и, значит, подхожу я к прилавку и вместо джин-тоника прошу «водки за тридцать» – и тогда продавщица достает откуда-то бутылку, каждый раз с новой этикеткой, но всегда по той же цене. И я прямо у прилавка делаю несколько больших глотков, а потом ничего уже не помню. Только через несколько дней, иногда через неделю, редко позже, выныриваю у себя в квартире. Морда в кровь, костяшки сбиты, у кровати сидит Димон и этот... Тигр Мракович, то есть Лев Маркович, ну, нарколог мой, его Димон всегда вызывает. Капельница там, физраствор, воды побольше. Таблетки еще оставляет, но я их все равно не пью.

И, значит, через две недели ты приходишь в норму?

Ну, что значит – в норму? Какая вообще может быть норма? Ты на меня посмотри – у меня руки даже сейчас трясутся. Морда опухшая, зуба переднего нет. Нихрена себе норма. Короче, да, через две недели я почти такой же, как до запоя. И даже кошмары свои не могу вспомнить. То есть не хочу вспоминать.

Но 4 февраля ты был трезв?

Кто ж его знает? Всего лишь неделя прошла. Условно можно считать – был трезв.

Хорошо. И как ты узнал о смерти отца?

Что значит – как узнал? И почему – отца? Может, он и не отец мне. Может, это я сам себе все придумал. Отчество-то мое – Васильевич, не Александрович. Может, и отец мой – не Александр, а Василий Мельников, его брат. А дядя Саша как и есть – дядя.

Ну хорошо. Так как ты узнал о смерти дяди Саши?

Что ты пристала? Как узнал, как узнал... Чего ты меня допрашиваешь? Ты сама – кто такая?

В самом деле – кто я такая?

Я могу ответить «Аня», могу – «Эльвира», могу просто сказать – «твоя сестра».

Слово «сестра» не требует уточнения: родная, сводная, двоюродная. Просто – сестра, та самая, которую ты никогда не видел в детстве. Сестра, которая даже не знала, что у нее есть брат.

Да и сейчас я почти ничего не знаю о тебе. Я лишь пытаюсь представить тебя – человека, который иногда называл моего мертвого отца – своим отцом. Пытаюсь представить твою жизнь, твою квартиру, твои запои и твоих чудовищ – мерзких и смешных, как монстры в компьютере у Андрея.

Пытаюсь представить, как Мореухов лежит на продавленной тахте посреди разгромленной комнаты, сунув руку в грязные трусы, смотрит черно-белый фильм, снятый так давно, что сейчас наверняка мертвы не только знаменитый режиссер и исполнители главных ролей, но буквально все вплоть до последнего помощника осветителя. И вот Мореухов смотрит на бледные тени этих умерших людей, а в этот момент на другом конце города Александр Мельников хватается за грудь, синее, задыхается, тянется к телефону, в последний раз пытается вдохнуть, судорожно раскрывает рот – словно рыба, пойманная на крюк, вытащенная на сушу, выдернутая невидимой леской в сухое небытие смерти.

Мореухов узнает об этом и скажет: *Когда мой отец умер, я был абсолютно трезв*, хотя сам не уверен, был ли он трезв и был ли Александр Мельников его отцом.

И Аня со злостью думает: вот еще одна ложь. С моим отцом всегда так.

2. Мой перебьется

Дочь Александра Мельникова официально стала Аней в шестнадцать лет. До этого она всюду была записана Эльвирой – бабушка настояла, неистребимая восточная любовь к экзотическим именам. Но мама все равно всегда звала ее Аней.

Аня до сих пор злится: почему бабушка Джамиля не выбрала какое-нибудь нормальное татарское имя? Звали бы ее Земфира, Зарема или Алсу – не стала бы менять. Или сразу дали бы русское; мама, например, с рождения была Татьяной – и ничего.

Впрочем, Аня, Эльвира, Алсу – какая разница? С любым именем видно, что татарка – широкие скулы, раскосые глаза, азиатский стиль...

Бабушка Джамиля была по-своему знаменита и, как говорила Ане мама, только случайно не получила в свое время звезду героя. Снайперша, убившая несколько сотен немцев. Хорошо бы, конечно, помнить точную цифру, но, наверное, не всегда понятно, убила или только ранила.

Были ли уже изобретены оптические прицелы? Если да – были ли они у советских снайперов? В частности – у бабушки?

Бабушка была невысокая, худенькая. Трудно ее представить на войне, с винтовкой в руках.

На той неделе трехлетний Гоша на прогулке соорудил из клюшки ружье, лег в сугроб, обстреливал прохожих. Вот и бабушка, наверное, так же лежала – все четыре военных года. В снегу, в грязи, в траве, в развалинах...

Бабушка умерла два года назад – уже не спросишь, как оно было. Может, мама знает? И Аня улыбается, представляя, как с порога огорошит маму Таню вопросом: *Ты не помнишь, мам, сколько немцев бабушка убила?*

Гоша, впрочем, только порадуется.

Как всегда, вспоминая сына, Аня улыбается. Не той судорожной улыбкой, которой ее научили в «ИКЕЕ», нет, едва заметно, кончиками губ. Напарница Зинка случайно ловит ее взгляд:

– Чего улыбаешься? Опять к Андрею собралась?

Аня кивает. Зинка подходит ближе и шепчет:

– А я себе у Настьки отложила офигенный комплект. У них распродажа сегодня, я ее уговорила мой размер заныкать до понедельника. Куплю с аванса. Офигенный. Черный с красным, всё в кружевах. Грудь в нем вообще – во такая! – и Зинка, увлекшись, показывает руками едва ли не в полуметре перед собой.

Аня хихикает.

– Да ладно тебе, – говорит Зинка, – мой от белья знаешь как заводится? Ты бы к Настьке подскочила, подобрала бы себе тоже чего-нибудь.

Аня пожимает плечами:

– Мой перебьется.

– Ой, гляди, Анька, упустишь мужика! Уведут! За такого двумя руками держаться надо! Ты, конечно, красавица, мужики-то на тебя вон как смотрят, но все-таки...

Тоже скажет – красавица! Просто бывшая спортсменка. Фигура хорошая, да и привыкла себя держать в форме. Каждое утро – холодный душ и зарядка. Двадцать пять минут. Приседания, наклоны, отжимания. Пресс, поясница, голеностоп. Еще со школы, с секции по плаванию. Чтобы день начался как всегда. Даром, что ли, бабушка всегда повторяла: «Здоровье в порядке – спасибо зарядке». Потому, наверное, никто и не дает Ане ее тридцати трех, потому, наверное, ей до сих пор приятно смотреть на себя в зеркало.

Мужики-то – черт с ними, главное – чтобы самой нравилось.

Если честно, мужики могли бы и меньше внимания обращать, даже лучше было бы.

Вот Марк Борисович, генеральный менеджер их филиала, каждый раз взглядом провожает. Аня, слава богу, знает такой взгляд – и ничего хорошего он не обещает, особенно если это взгляд начальства. И тут уж без разницы – вещевой рынок или уютный магазинчик в торговом центре. Разве что в «ИКЕЕ» без этого обходилось – ну, шведы, знамо дело, холодные северные люди, дисциплина, экономия, все такое. Так что было у Ани три года перерыва – и ладно.

Марк Борисович подходит, улыбается маслено, спрашивает:

– Как дела, Анечка?

Зинка сразу назад на свою половину, где мужская обувь. Мол, много работы, вы уж сами разбирайтесь.

Тоже все понимает.

– Спасибо, Марк Борисович, хорошо дела, – отвечает Аня. – Покупателей только маловато сегодня, странно даже, все-таки пятница.

– Ну ничего, подтянутся еще, как с работы пойдут. – Потирает маленькие ладони, машинально трет средним пальцем левой обручальное кольцо. – А ты что сегодня после смены делаешь? Может, закатимся куда-нибудь? Кофейку попить, музыку послушать. И вообще.

Аня улыбается во всю икейную улыбку:

– Я бы с радостью, Марк Борисович, но никак не получится. Мне ребенка надо из сада забирать.

– А, ребенка... – он сразу скучнеет. – А может, ты маме позвонишь, пусть она и заберет?

Вот ведь внимательный! Неужто слышал, как я по мобильному с мамой договаривалась, чтобы она за Гошей заехала и к себе забрала?

– Никак не получится сегодня, Марк Борисович. Может, в другой раз.

– В другой раз – это хорошо, – и снова улыбается маслено. – Может, в следующую пятницу? А то, Анечка, я вижу, вы все работаете, работаете, даже не отдохнете как следует.

Это правда. Аня все работает. Вот уже пятнадцать лет – и все продавщицей.

Пятнадцать лет трудового стажа, пятнадцать лет самостоятельной жизни – да еще и в самые страшные годы, после перестройки.

Аня помнит: тяжелое было время.

Она помнит: талоны, пустые прилавки, коммерческие палатки, вещевые рынки, обменники, миллионные ценники, аббревиатуру «у. е.», деноминацию, оптовые рынки, закрытые павильоны, торговые центры, кризис девяносто восьмого и снова – пустые прилавки, все сначала.

Пятнадцать лет продавщицей. А что делать? Не в киллеры же идти. Да и стрелять она не умеет.

В отличие от бабушки.

– Спасибо, Марк Борисович, – говорит Аня, – обязательно как-нибудь сходим кофейку попить.

А что тут поделывать? Рано или поздно придется соглашаться – и кофейку попить, и музыку послушать. Ну а там и до «вообще» дело дойдет, куда уж деться.

Не хотелось бы место терять, все-таки шестьсот долларов плюс премия. Нормированный рабочий день, трудовая книжка. Отдел обуви в торговом центре.

Хорошая работа, не хуже «ИКЕИ». И платят больше.

Завтра, в субботу, Аня приедет забирать Гошу от мамы, мальчик кинется навстречу, Аня обнимет сына и только потом поднимет глаза.

Татьяна Тахтагонова молчит, скрестив на животе маленькие руки. Лицо словно онемело.

– Что-то случилось? – спрашивает Аня почему-то шепотом, и мама Таня отвечает, тоже тихо, словно боясь, что Гоша услышит:

– Сашка вчера умер, – и после паузы добавляет: – Твой отец.

И снова замирает молча, да и в самом деле – что тут добавить, Аня после развода видела отца раза три-четыре, а что было раньше – не помнит, слишком маленькая была.

Дядя Саша развелся, когда мне было семь, и с тех пор они с моим отцом не сказали друг другу ни единого слова. Я видел дядю Сашу на днях рождения бабушки и бабушки, тогда-то он рассказал мне, что у меня есть сводный брат, сын моего отца от другой женщины, тоже Саша, как он. Мне было уже лет двадцать, наверное.

Так что я видел дядю Сашу редко, пару раз в год, а Аню-Эльвиру, его дочку, и того реже. Но мне почему-то нравится представлять, как она стоит в своем обувном магазинчике, беседует с начальством, а потом, в прихожей у матери, обнимает сына и спрашивает одними губами: Что-то случилось, мама?

А Гоша ничего не слышит, прыгает по прихожей, размахивает рожком для обуви, кричит:

– Мама, смотри, какой у меня пистолет! Смотри, смотри!

И я, Никита Мельников, смотрю в окно такси, вздыхаю и думаю: «Я бы тоже хотел такого сына».

3. Целоваться не мешает?

У Никиты нет детей.

У Никиты есть небольшой бизнес, есть хорошая квартира, машина «тойота», жена Маша – а детей нет.

Вроде он не слишком на эту тему переживает.

Сейчас он сидит на краю гостиничной кровати, простыня мокрая – хоть выжимай, рубашка и брюки валяются где-то на полу вместе с Дашиным платьем. Сама Даша рядом, лежит на спине, чуть повернувшись к Никите, закинув полные руки за голову, покрытую короткими – несколько миллиметров – волосами.

В гладко выбритых подмышках блестят капельки пота, и на груди тоже, и на бедрах, и на животе. Никите кажется, даже в пупке – маленькая лужица.

Даша улыбается.

Улыбка, полные руки, поворот головы.

В ушах – массивные серебряные серьги. Проколота бровь и – теперь Никита знает об этом – язык.

Вот она, Даша. Ей двадцать два.

Никите через три года – сорок.

Он думает: *Неплохо получилось, а?*

Значит, у Никиты еще есть молодая любовница. Зовут Даша.

Даша и Маша – какая-то навязчивая рифма, Никите не нравится. Если честно, Никита не уверен, что ему вообще нравится вот так сидеть на краю гостиничной постели, где лежит малознакомая девушка. Но что уж тут поделать – как-то само получилось.

Три часа назад Даша пришла выбирать аквариум для какой-то мелкой конторы. Сказала, работает там секретаршей. С ней должна была встретиться Зоя, но Зоя опоздала (не то застряла в пробке, не то проспала, надо бы, кстати, потом выяснить), ну да, значит, Зои не было, Виктор тоже пропал где-то у клиента, так что, кроме Никиты, и некому было. Компания-то небольшая, в офисе всего человек семь. А с клиентами говорить – только они трое.

И вот три часа назад Никита сидел, старался не пялиться на Дашину грудь в вырезе темного платья, разглядывал ежик волос, раздражался, что тратит время на ерунду, – заказ-то пустяковый, нет бы Зое с этой девицей говорить! – отвечал на вопросы, злился все больше. *А это оригинальные индийские статуэтки? В смысле – из Индии или местная копия? Простите, вот этих я знаю, а это кто? Мне кажется, танцующий Шива по канону изображается немного иначе.*

Родители Никиты уверены, что он разводит рыбок. На самом деле рыбок он покупает в «Мире аквариума» на Новинском бульваре, а его компания только оформляет и обслуживает аквариумы. У других – стандартный набор из декоративных каравелл и пиратских сокровищ, а у Никиты – этнические аквариумы с затонувшими экзотическими городами, китайскими и японскими беседками, многорукими индийскими богами, статуями острова Пасхи, даже затопленными русскими церквями (есть даже заключение специалистов: мол, церкви – точная копия погребенных на дне Рыбинского водохранилища в апреле 1941 года). Еще римские развалины, арабские минареты, индийские руины. Откуда арабские минареты на дне моря, Никита не знает, но клиенты берут. Вероятно, им видится в этом пророчество о поражении ислама в войне цивилизаций.

На удивление успешный бизнес. Никита и сам не понимает, как так вышло.

Девушка явно никуда не спешила, опять и опять уточняла цены, задавала новые и новые вопросы. Никита в конце концов проголодался, стал поглядывать на часы, но Даша намека не

поняла, Никита вздохнул – клиент всегда прав, что поделать, – и предложил пообедать вместе, заодно уж и договорить.

В прихожей офиса Никита подал девушке выдавшую виды пуховку – когда Дашины руки скользнули в рукава, она обернулась сказать спасибо. Их лица оказались совсем рядом, и Никита впервые подумал: *А она ничего, секси. Только очень уж молоденькая.*

Никита давно уже решил: молоденькие девочки не для него. Глупые, бессмысленные. И еще – жадные до денег. Зачем еще молодой-красивой строить глазки сорокалетнему мужику?

Впрочем, кто ее разберет, двадцатилетнюю, – строит она глазки или просто так щебечет: *Мне кажется, этнические мотивы – это очень тренди. Настоящий нью-эйдж. Вы, наверное, должны любить Кастанеду? Люди вашего поколения всегда любят Кастанеду.*

Бизнес-ланч уже закончился, в кафе они были единственными посетителями. *Гламурно здесь у вас*, сказала Даша, оглядев зал. Никита вполуха слушал ее болтовню, разделял на тарелке окуня и только время от времени кидал взгляд на девушку. Чуть полноватая, покатые круглые плечи, большая грудь так и выпирает из выреза. Колечко в левой брови – думал, пирсинг вышел из моды, остался где-то в девяностых.

И тут как раз серебряная штанга звякнула о ложечку. Даша рассмеялась:

– Это я по молодости сделала. В десятом классе.

В нашем девятом, автоматически пересчитывает Никита. Теперь ведь учатся одиннадцать лет, не десять, как в его время.

– Хотела убрать, но лень как-то. Пусть себе.

Она на секунду высунула язык, штанга поймала отблеск лампы дневного света, вспыхнула серебристым огоньком.

– А целоваться не мешает? – спросил Никита.

– Я покажу, – ответила Даша.

Никита замешкался всего на секунду, хотел отстраниться, да не успел: девушка перегнулась через стол, обхватила за шею полными руками и поцеловала, языком раздвинув губы.

Вот так оно и вышло: серебряный вкус первого поцелуя, тепло молодого тела, улыбка в гардеробе, номер в гостинице через дорогу.

Как говорится, он был богат и успешен, а она – молода и красива.

Достаточный повод, чтобы переспать, – хотя Никита уже сам не помнит, когда изменял Маше в последний раз. Кажется, пять лет назад. Или семь. Тоже – совсем случайно, тоже – само вышло.

Я спрашиваю себя: почему Никита не остановился после того поцелуя? Наверное, было интересно – все-таки у него никогда не было девушки на пятнадцать лет моложе. А может, захотелось проверить – в самом ли деле пирсинг языка помогает при минете: в каком-то фильме об этом говорили.

(Никита, конечно, не может вспомнить в каком, а мне и вспоминать не надо, я, слава богу, и так знаю: это Розанна Аркетт говорила в «Палп Фикшн».)

И вот они торопливо раздеваются, не то от страсти, не то потому, что обоим надо спешить, Даше назад в свою контору, Никите – в свой офис. *Быстро кончу – и разбежимся*, думает он, лаская Дашину грудь, посасывая сережку в левой брови, запоздало соображая: надо было купить презерватив.

И тут Даша тянется к сумочке, нашаривает там Durex.

Предусмотрительная, думает Никита. Дашины руки скользят по его телу, по выпирающему животу, седеющим волосам на груди, серебряная штанга скользит по коже, влажный язычок, острые коготки.

Предусмотрительная, да. И старательная.

В самом деле – интересно с молоденькой. В наше время девушки были совсем другие.

В конце концов они принимают традиционную позу. Никита сверху, Даша, раскинув руки, под ним. Шумное дыхание, скрип гостиничной кровати.

Ведь гостиничная кровать должна скрипеть, правда? Я-то никогда не трахался в гостинице, только в кино видел да в книжках читал. Зато я трахался в таких местах, которые Никита и представить себе не может.

Итак, шумное дыхание, скрип, может быть – слабые стоны. Никита думает: Интересно, сколько сейчас времени? – никак не может кончить и даже немного злится, точь-в-точь как несколько часов назад, в офисе, во время разговора об аквариумах. Думает: Может, позу сменить? – но тут Даша содрогается, запрокидывает голову, мелко трясется. Глаза закатываются, приоткрывается рот, волна проходит по всему телу.

Вздрагивания, колыхания, колебания, раскачивания, мелкая дрожь, спазматические судороги. Все поры тела сочатся влагой: маленькое озерцо на животе, ручейки в руслах складочек, морщинок и расщелинок, капли воды выступают на коже. Даша скользит под Никитой, он сам не понимает, приятно ли. И тут из глубины ее тела поднимается мощный звук – глухой, утробный, нечеловеческий.

Так в рассказе Брэбери ревет доисторический зверь, выплывая на свидание к завывающему маяку.

Звук становится все громче, заполняет гостиничный номер, выплескивается в коридор, на лестницы, в вестибюль. Никита думает: Как же ей хватает дыхания? – и тут все обрывается, тишина ударяет по барабанным перепонкам, Дашино тело скручивает узлом последней судороги, Никита вцепляется в полные, скользкие под руками плечи и кончает с громким мужским рыком.

Он перекачивается на соседнюю половину кровати и спрашивает:

– Прости, что ты сказала?

– А что ты услышал?

– Когда мы кончали, ты крикнула *любовь*. Это к чему?

Он думает, что знает ответ. Молодые девушки, глупые молодые девушки не могут кончить не по любви. Если уж трахаешься – нужно говорить «я тебя люблю». Когда-то, много лет назад, у него были такие подружки – еще до Маши, конечно.

Но Даша отвечает другое:

– Это у меня что-то вроде транса. – Она лежит на спине, чуть повернувшись к нему, закинув за голову полные руки. – Иногда я кричу какое-нибудь слово. Каждый раз новое. Не всегда, но часто. От меня это не зависит, я даже не помню, что кричу. Пробовала заказывать слова – ничего не вышло. – В гладко выбритых подмышках блестят капельки пота. – Я обычно заранее предупреждаю, но сегодня забыла, извини, если напрягло.

Даша улыбается.

Улыбка, полные руки, поворот головы.

– Нет-нет, не напрягло, – заверяет Никита, – даже забавно: кончить под слово *любовь*.

– Можешь воспринимать как сексуального оракула, – говорит Даша. – Иногда помогает вопросы задавать перед началом. Можно даже мне не говорить – какие.

Никита садится. Простыня мокрая – хоть выжимай, рубашка и брюки валяются где-то на полу вместе с Дашиным платьем.

И тут звонит мобильный. Даша протягивает руку, берет «нокию» с тумбочки, передает Никите, краем глаза взглянув на экран.

Там написано «папа».

Никита говорит: *Аллё*, – а отец ему сразу: *Знаешь, Саша умер*.

Я представляю: у него упавший, надтреснутый голос. Мне хочется верить – он любил брата. Даром что тридцать лет не разговаривал.

Даша садится, подтаскивает ногой платье, Никита спрашивает в трубку: *Какой Саша? Брат?* – а отец отвечает: *Да*, – и каждый думает о своем брате: Никитин отец – о дяде Саше, Никита – обо мне, о Саше Мореухове.

Мы виделись всего несколько раз, сначала детьми, потом на похоронах бабушки с дедушкой – почему он вспомнил меня? Может, дело в февральском сумраке за окном, а может, в каплях пота на Дашиной коже, в нарастающем чувстве вины, в мысли *неплохо получилось, а?* Как будто для него это заурядное дело – снять молодую девицу, отвести в гостиницу, трахнуть от всей души, будто нет пятнадцати лет разницы, будто нет жены, которую вроде бы любит?

Вот он сидит на краю гостиничной кровати, будто он какой-то вечно-молодой-вечно-пьяный, безответственный человек, что-то вроде собственного брата, вроде меня, Саши Мореухова, художника-алкоголика.

Выходит, нет ничего удивительного, что, услышав надтреснутый отцовский голос: *знаешь, Саша умер*, Никита не сразу вспоминает о своем дяде Александре Мельникове, пятидесяти шести лет, точно так же, как я сам не сразу вспоминаю, какой фильм смотрел в тот день, когда умер дядя Саша.

4. Напоследок

Вы бы знали, Александр Михайлович, как я на вас злилась последний год. Все давно платят по пятнадцать, даже двадцать долларов – а вы всё десять. Я уж намекала по-всякому, стала к вам раз в две недели приходить – все равно делали вид, будто не понимаете. Знаете, что не могу я так взять и уйти от вас, помню – после дефолта все от меня отказались, а вы как платили десять, так и продолжали платить. Хотя я знала – вы как работу потеряли, так и сидите с тех пор на мели.

Ну, по вашим меркам, конечно.

Но я вас за этот дефолт сильно уважаю. И еще – что мы с вами всегда были на «вы», с первой встречи. Помните, в 1996-м я из Донецка приехала? Сереженьку родителям оставила, поселилась с Иркой в съемной комнате. Спали вдвоем на раскладном диване, она работала няней у каких-то новых русских, ну и я тоже няней хотела. Думала, долларов сто можно в Донецк маме отправлять. Казалось – большие деньги. Сереженька одет-обут будет, да и родителям полегче.

Ну, вы знаете – не взяли меня. Акцент, сказали, хохляцкий. Мол, разве что к азерам пойти, им все равно, они по-русски сами ни бельмеса.

Я отказалась, конечно. Думала домой вернуться, но Ирка меня с вами познакомила. Десять долларов в день, раз в неделю. Плюс отдельно за мойку окон весной и осенью. Не густо, но хоть Ирке за комнату отдавала.

Я не говорила никогда, но мне сначала обидно было уборщицей: все-таки я воспитательница детского сада, педагог, специалист. Когда шла встречаться с вами, сказала себе: не понравится – откажусь! Ну честно, вы мне понравились. Такой интеллигентный мужчина, очки, борода, усы. Волосы черные тогда еще были, не то что сейчас. Поздоровались так вежливо, сказали: Давайте, Оксана, я покажу вам квартиру.

Знаете, тогда эта ваша квартира – она гораздо грязнее была, конечно. Думаете, легко все эти кораллы отмывать от пыли, а крабам панцирь протирать тряпочкой? А вы еще в этом самом кресле сидели все время. Я смущалась, кстати: как на лестницу стану, халатик у меня распахивается прям досюда. Я моложе тогда была, крепкая такая, красивая – может, помните? – очень стеснялась: вдруг вы приставать начнете.

Но чего не было, того не было, это правда. Только разговаривали. Как на Дальний Восток ездили, про Тихий океан, про Долину гейзеров. Как там вода горячая из земли бьет, ни бойлерной не надо, ни газовой колонки. Фотографии показывали, красивые такие.

Я помню, вы же геологом были до перестройки, да, Александр Михайлович?

Я иногда думаю, вы мне удачу принесли. Года не прошло – я уже больше Ирки зарабатывала. Правда, без выходных работала, а по вторникам и четвергам по две квартиры делала, хорошо хоть ехать было недалеко. Но дома все равно говорила, что в детском саду работаю.

Я знаю, я вам все это рассказывала, наверное. Но все-таки я еще разок, ничего? Вот губочку выжму и снова по полочкам пройду.

Помните, я вас как-то спросила, чего вы не женаты? Мол, нестарый еще мужчина и при деньгах, а вы ответили, что у вас любовь и вы храните ей верность.

Я как услышала – вас сразу зауважала. Муж-то мой загулял, чуть я в Москву подалась. Правда, и до этого пил столько, что толку от него... разве что Сереженьку сделали, и то хорошо.

Я один раз даже спросила вас про эту любовь – как зовут, где живет, почему у вас ничего не вышло. Помните, что вы сказали? *Я, дурак, все сам испортил* – и всё, больше никогда ни слова. Ну а я больше не спрашивала.

Я на вас страшно злилась последний год, если честно. Все-таки двадцать долларов в месяц теряла, а то и все сорок. Сегодня тоже – шла утром и думала: надо все-таки ему отказать. Уборка – это не хлеб, без нее прожить можно. Если нет денег, пусть сам убирает.

Вы извините, что я так думала, хорошо?

Я не поняла сначала ничего, решила – может, уехали куда, вот и не отвечаете. Открыла своим ключом, вхожу, вижу – свет в комнате горит, хотя утро уже. Ну, вы часто свет за собой не гасили, я еще злилась, думала, что лучше бы электричество сэкономили, чем мне десять долларов платить.

Я сразу в ванную пошла, переоделась, ведро, тряпку взяла – и только потом в комнату.

Ну а вы вот тут, у кресла, на полу. Я к вам бросилась, за руку взяла – а рука холодная совсем. Я и поняла сразу, что все, ничего уже не поделаешь.

Я сначала разозлилась страшно. Мне же теперь в милицию звонить, Александр Михайлович, а что я им скажу? Менты придут, регистрацию мою липовую проверять будут, на деньги разводиться – и все, между прочим, из-за вас. Давно мне надо было отказать, десять долларов – все-таки не цена, я вам теперь честно скажу. Давно собиралась, ну, вот и пришлось.

Сильно вы меня подвели, очень сильно.

Когда я вас увидела и к вам побежала, я ведро-то и опрокинула, вот, полюбуйтесь, лужа – прям посередине комнаты. И мне так неохота звонить в эту милицию, что я тряпку взяла и вытирать стала. Что ж еще делать? Привычка. Девять лет, как я в вашей квартире убираюсь. Сколько всего случилось – Сереженька мой вырос, в армию пошел, мама умерла, Ирка замуж вышла, – а я здесь почти каждую неделю. И больше никогда я сюда не приду, между прочим.

Я всю воду собрала, тряпку выжала, за губочкой в ванну сходила, начала полки протирать, где кораллы ваши стоят и крабы всякие. Уж в последний раз, думаю, хоть уберусь как надо, по-хорошему.

Вы, Александр Михайлович, это зря все придумали, я честно вам скажу. Вам ведь всего пятьдесят шесть, правильно? Всего на пятнадцать лет меня старше, между прочим. Вам бы еще жить и жить.

Я вот думаю – как это вас угораздило? Сидели, наверное, читали – и плохо стало, да? Сердце, наверное? Говорят, когда приступ – воздуха не хватает и в глазах темнеет? Это правда, да?

Что ж вы до телефона не дотянулись, а? Умный, взрослый человек, все знаете, а под рукой телефона не оказалось. Ведь если сердце больное – надо чтобы всегда телефон был под рукой. Приехала бы скорая, откачали бы, укол сделали.

Вам больно было, наверное. Может, вы кричали даже – рот, вижу, до сих пор открыт. Чего ж соседи не услышали, а? Или у вас сил не было кричать?

Господи, как все-таки это ужасно. Вы же такой умный, такой красивый, все у вас было – что же вы так, в пятьдесят шесть, один ночью, в пустой квартире?

Это все потому, что у вас женщины не было. Нельзя человеку одному жить, особенно мужчине. Если бы я тут была, я бы вам скорую вызвала и нитроглицерина, или чего там надо, накапала.

Глупо это с вашей любовью вышло. Что значит – сами испортили? Она что, не видела, как вы ее любите?

А мне вот жалко даже, что вы никогда ко мне не приставали. Особенно когда я молодая была. Видели хотя бы, какие у меня ноги были красивые? Не то что теперь. Девять лет прошло все-таки.

Слушайте, я вызову сейчас милицию, я понимаю, надо вызвать. Дайте только я волосы вам поправлю и рот закрою.

Ну да, не получается. Я и забыла. У покойников же всегда так. Платочком еще повязывают.

Жалко, вам не видно, как я у вас убралась. Все просто блеснит.

Вы уж извините, что я плачу, Александр Михайлович. Я сейчас перестану.

Волосы у вас так до конца и не поседели, я вижу. Но вам седина идет, даже такому, мертвому.

Слово какое противное. Мертвый. Говорить его не хочу даже.

Давайте я не буду сразу в милицию звонить. А то приедут, увезут вас, мы и не увидимся больше. Лучше я кому-нибудь из ваших друзей позвоню... или там родственников.

Записная книжка на столике, да? Как обычно, правильно? Я поищу сейчас.

У вас же брат был, верно? Вы как-то говорили. Имя еще какое-то простое. Коля, Ваня... нет, не помню.

Какой у вас все-таки, Александр Михайлович, почерк неразборчивый, жуть. Не поймешь ничего.

А, вот. Василий Мельников, точно, Вася, не Ваня. Я наберу сейчас, а потом уже – ментам. Только плакать перестану – и позвоню.

Я, наверное, в Донецк теперь уеду. Сереженька вырос, сам на жизнь заработает. Чего мне в Москве делать?

Сейчас вот позвоню. Василий Мельников, Василий Михайлович, значит.

Аллё? Василий Михайлович? Это Оксана, уборщица вашего брата. Знаете, Василий Михайлович, он умер сегодня.

Да, вот так и скажу. Сейчас успокоюсь и позвоню. И потом милицию вызову. А на похороны не пойду, что мне там делать? Смеяться будут – уборщица на похороны пришла. И что я надену? У меня все платья красивые в Донецке остались.

Знаете, зря вы все-таки. Я вам честно скажу: если бы вы не умерли, я бы вам даже забесплатно убирала!

Больше мы ничего не услышим об Оксане из Донецка. На похороны она так и не пошла, да и вообще ее никто ни разу не видел. Только Василий Мельников слышал по телефону южный говор: *Это Оксана, уборщица вашего брата. Знаете, Василий Михайлович, он умер сегодня* — вот и все.

Остальное мне пришлось сочинять самому.

Конечно, глупо, но мне захотелось, чтобы хоть кто-нибудь оплакал Александра Михайловича Мельникова.

Пусть это будет чужая, незнакомая женщина – пусть поплачет от чистого сердца, без обиды, без вины.

Говорят, неоплаканный покойник – к беде.

5. Альтернативные поминки

Ты хочешь, чтобы я рассказал о себе? Давай лучше я расскажу тебе историю четырех человек, двух братьев и двух сестер, двоюродных и сводных, и заодно – историю наших семей, потому что эта история у нас – общая на всех, так уж перемешались наши семьи, чтобы мы появились на свет.

Мы, четверо: вот я, Саша Мореухов, вот мой брат Никита и моя двоюродная сестра Аня – или сводная, если дядя Саша все-таки был моим отцом. А четвертая – это Анина двоюродная сестра Римма. Бабушка Джамиля хотела, чтобы девочки дружили, а дружба не получилось – все-таки десять лет разницы, – но все равно: то же поколение, то же время, тот же город. Вот она, Римма Тахтагонова, она ничего не знает о смерти Александра Мельникова, ничего, наверное, не знает ни обо мне, ни о Никите, но я постараюсь не забыть о ней.

А если что – ты мне напомнишь, ладно?

Черные фигуры, припорошенные снегом, черный провал свежевырытой могилы, белые хлопья, летящие с неба...

Похороны, куда так и не пришла Оксана.

Хованское кладбище. 7 февраля 2005 года.

Вот Мореухов стоит, засунув руки в карманы драной куртки, ежится от ветра, плотнее натягивает вязаную шапочку. Чуть сбоку – Аня в черном китайском пуховике поддерживает за локоть Татьяну Тахтагонову, свою маму. Неподалеку в тех же позах – Никита и его отец, Василий Мельников, брат покойного.

Скульптурная композиция, думает Мореухов. Под снегом – словно мраморные. Две мужские фигуры и две женские. Символизируют скорбь. А может, не скорбь, а стыд, раскаяние и вину.

У нас короткая память. Собственную жизнь – и ту вспоминаем с трудом.

На чужие жизни никакой памяти не хватит.

Сто лет для нас – неподъемный срок.

Нельзя вспомнить – можно только представить: 7 февраля 1905 года тоже шел снег.

У мельничной запруды, опираясь на палку, стоит старик, глядит в сереющее снежное небо. Вода скована льдом; подо льдом – темная влага, заснувшие раки, безмолвные рыбы, гнилые коряги... Старик молчит, а может, еле слышно бубнит что-то себе под нос, словно говорит с тем, кто там, подо льдом, на дне запруды.

Маленький мальчик лежит в колыбели, кружева, ленты... Интеллигентное отцовское лицо склоняется над ним. *Мишенька, сынок*, говорит отец. Поблескивают стекла пенсне.

Никита, Мореухов и Эльвира будут называть этого мальчика *дедушка Миша*.

Мы видим их как сквозь снежную пелену, едва различая лица и фигуры: множество людей, родители дедушки Макара, дедушки Гриши, бабушки Насти, бабушки Оли, бабушки Джамили... разбросанные по городам и деревням Российской империи, они ничего не знают друг о друге, о будущем, о внуках и правнуках, которые объединят их.

Не станет империи, не станет России, потом – Советского Союза, и вот 7 февраля 2005 года мы, их потомки, соберемся на кладбище, и снег будет падать так же, как сто лет назад, – разве что слегка побуреет от копоты и гари МКАД, от въевшегося запаха московской окружной, где машины движутся по кругу, словно молекулы воды в школьном учебнике: вода, пар, дождь, снег; возгонка, испарение, конденсация, замерзание; вечный водный круг, мельничное колесо, колесо рождений и смертей, похорон и крестин.

Поднимем глаза к небу: из белой пустоты летят белые хлопья, как в финале романа Эдгара По. Представим: эти хлопья – материальное воплощение взгляда умершего, взгляда с

небес. Пусть Александр Мельников увидит, как гроб покачивается над черной дырой в снежном покрове. Пусть в последний раз взглянет на людей, с которыми прожил свою жизнь: вот его дочь обнимает за плечи женщину, с которой он развелся, вот его племянник обнимает за плечи мужчину, который его предал. Вот по дорожке спешит женщина, которую он когда-то любил. Говорит:

– Я опоздала.

Тушь на лице, разумеется, смазана. В такой-то снегопад. На таких похоронах.

Мореухов обнимает ее за плечи – теперь композиция завершена. Двое мужчин. Две женщины. Мужчина и женщина.

Дети и родители.

Не гляди на нас, дядя Саша: скоро ты встретишь Бога и ангелов. Это я, Александр Мореухов, пытаюсь смотреть твоими глазами. Ты верил в загробную жизнь – в семидесятые стало модно верить, вот ты и верил. Пусть она для тебя и случится, небесные ангелы, добрый Бог на снежном облаке, вечное райское блаженство. Ты много передал мне, а эту веру – не смог. Хотя я, конечно, считаю себя православным.

Я смотрю вверх, на падающий снег, представляю в его мелькании белоснежные перья ангелических крыл, но думаю: дядя Саша смотрит не с небес, а из гроба, из деревянного ящика, на последних качелях взлетающего над мерзлой черной дырой.

Для взгляда умершего крышка прозрачна. Сквозь нее видно, как снег летит вниз, как небо раскачивается в такт движениям могильщиков, спускающих гроб в яму. Он видит, как вместе с белоснежными невесомыми хлопьями в лицо летит грязь, темная, схваченная морозцем. Слышит стук, и вот уже всё черным-черно, спустилась ночь, последняя ночь, ночь мертвых мертвецов, из которой не подняться, не вырвать руку из земли приветственным жестом, салютом всех зомби мира, не пробиться сквозь крышку Умой Турман, не увидеть зимний солнечный свет.

Я представляю в гробу дядю Сашу, моего отца, могильщики заравнивают землю, мама начинает всхлипывать, цепляется за мою руку. Я никогда не спрашивал, кто мой настоящий отец. Разве это важно? Ты можешь сам выбрать себе отца – особенно если мужчина, которому ты обязан отчеством, за всю жизнь не сказал тебе ни слова.

Вот он, Василий Мельников, стоит поодаль под руку с Никитой, моим братом. Двоюродным или сводным – зависит от того, кого я выбираю в отцы.

На Никите хорошее пальто. Не знаю, как такие называются. Буржуйское пальто. Если бы я по-прежнему верил в революцию, я бы занес Никиту в расстрельные списки. Но я уже много лет не верю в революцию. Ни в красную, ни в черную, ни в оранжевую.

Иногда мне нравится представлять себе, как живет Никита. Я знаю: у него какой-то бизнес. Кого-то разводит. В смысле – домашних животных. Кажется, рыбок.

Мы уходим с кладбища, почти ничего не сказав друг другу. В самом деле, на похоронах положено выражать соболезнования близким покойного. Но кто из нас был ему близок? Моя мать, которую он любил когда-то (думаю, всю жизнь)? Жена, которая развелась с ним, когда я родился? Дочь, которую она забрала у него?

Я, я был ему самым близким человеком! Ко мне они должны подойти, пожать руку, заглянуть в глаза, пролепетать что-то, снедаемые чувством вины, раздавленные моим страданием, моим одиночеством! А они толпятся вокруг тети Тани, его бывшей жены, женщины, которую он никогда не любил! Они говорят слова соболезнования Эльвире, которая отреклась даже от своего имени и стала Аней!

Я тоже отказался от своей фамилии, но это совсем другое дело.

Мама тянет меня за руку. Неужели и она хочет выразить им соболезнования? Нет, слава богу. По занесенной снегом дорожке молча идем к выходу. Наверное, я что-то должен сказать. Не знаю что.

У самых ворот нас догоняет Аня.

– Саша, – говорит она, – ты разве не пойдешь на поминки? Я знаю, папа тебя любил.

Я молчу. Она знает: папа меня в самом деле любил – больше, чем ее. Знает и ревнует даже сегодня.

– Нет, – говорю я, – у меня будут альтернативные поминки.

Разворачиваюсь и ухожу. Аня, вероятно, смотрит мне вслед. Снег кинематографично замечает мои следы.

Сажаю маму в такси, бреду к метро. Может, надо было поехать с ней? Нет, сейчас лучше побыть одному. Наверное, и маме тоже хочется одиночества.

У метро пересчитываю деньги, полученные от Димона. Да, на цветах я немного сэкономил. Все равно их воруют на кладбище, мертвым какая разница?

И вот в ларьке у метро Мореухов берет двухлитровую бутылку очаковского джин-тоника. Пьет большими глотками, горло схватывает судорогой. Проезжает такси – Эльвира с тетей Таней, коллеги дяди Саши, его друзья, статисты, массовка. Никита сидит за рулем «тойоты», отец на переднем сиденье, просит отвезти его домой. Никита молча едет сквозь снег, вспоминает надтреснутый голос в трубке: *Ты знаешь, Саша умер – Брат? – Да.* И каждый думает о своем брате.

Они молча едут сквозь снег, как будто боясь нарушить тишину, тишину вины и стыда, запоздалое эхо молчания, столько лет разделявшего братьев. Они молчат, а Никита представляет: одинокий Мореухов у ларька справляет альтернативные поминки.

Такси. Эльвира с тетей Таней. То есть Аня с мамой. Наверное, обе плачут. Это нормально: плакать, возвращаясь с похорон. Или нет: они еще не могут заплакать, они говорят о поминках, о продуктах, о покупках. Или нет – они просто молчат.

Машина едет сквозь мокрый московский снег. Таксист слушает песню про Лялю, которую загубили, хотя она была девчонка кроткая. *Нету столько водки, чтоб от боли не сойти с ума.* Ну-ну.

Вся Москва сейчас слушает хип-хоп – или подделки под хип-хоп.

Да. Продукты, покупки, салаты, дожить до зарплаты, два брата, последняя трата. Вот Аня и Таня, как будто картинки, смотрите – поминки, набились к Татьяне, сидят на диване, на стульях, на досках, вот так, в этом плане, ну, в общем понятно, открутим обратно, *давай, заноси!* – немного вперед, вот, обратно – в такси.

Аня смотрит в окно, сжимает мамину руку, думает: мама всегда говорила: *Твой отец меня никогда не любил.* Ну вот, и я его никогда не любила. Да и виделись мы всего раза три-четыре. Лет десять назад сама позвонила из любопытства, встретились, поговорили. А до этого за двадцать лет он меня даже ни разу не навестил. Разве это отец?

А еще говорил: мол, бывшая жена не давала им видаться. Хотел бы – увиделся!

Они молчат. Мокрый снег за окном. Черной земли на папиной могиле, наверное, уже не видно.

Аня берет маму за руку.

– Послушай, я вот хотела тебя спросить...

– Что? – отвечает мама.

В самом деле: что? Аня задерживает дыхание, как бабушка-снайпер перед выстрелом, и наконец спрашивает первое, что приходит в голову:

– А ты сильно любила папу?

Она чувствует: мамина ладонь напрягается в ее руке. Татьяна отворачивается к окну и говорит:

– Да.

Это *да* ледяным комом проскальзывает в мое горло. Потому что это – главный вопрос и главный ответ. Ты его очень любила? Да. И я его очень любил. И сегодня, 7 февраля 2005 года, стоя в сугробе в пяти шагах от ларька в незнакомой мне части города, где не сыскать *живой воды за тридцать*, я приделываю второй батл джин-тоника, уже не думаю о том, где возьму деньги на третий, как буду добираться до дома, доберусь ли домой вообще. Снег валит с неба, мой отец умер два дня назад.

Да, говорю я сам себе и бросаю пустую пластиковую бутылку в сугроб, как гранату под вражеский танк. Наверное, Эльвира с мамой уже доехали до дома, поминки начались. Через два-три часа гости разойдутся, Татьяна наконец-то заплачет, а мне вот не нужно ждать так долго, я плачу прямо сейчас, стоя под снегом, скрывающим мужские слезы.

Мои поминки будут долгими.

Часть первая
Два брата
(шестидесятые – восьмидесятые)

Только братья знают: любовь и ненависть – сестры.
Сержи Блэкмит

Василий Мельников, 1945 г. р., отец Никиты
Александр Мельников, 1949 г. р., брат Василия, отец Ани-Эльвиры
Елена Борисова, 1950 г. р., она же Лёля, мать Мореухова
Светлана Мельникова, в девичестве Тихомирова, 1945 г. р., жена
Василия Мельникова, мать Никиты
Макар и Настя Тихомировы – родители Светланы, бабушка и дедушка
Никиты
Татьяна Тахтагонова, 1954 г. р., жена (1971–1975) Александра
Мельникова, мать Ани-Эльвиры

6. Обычный пацан из московских окраин

Как так вышло? Как получилось? Как я очутился здесь?

С пустой бутылкой в руке, будто с гранатой – под танк. По колено в грязном московском снегу, под порывами ледяного февральского ветра, в рваной куртке, в огромном городе, в тридцать без малого лет, без зубов, без шапки, с разбитым в кровь лицом. Как я сюда попал?

Я был маленький мальчик, мама меня любила, дедушка меня любил, папу я не знал.

Я был молодой художник, меня любили критики, девушки мне давали за просто так, у меня были друзья, меня ждала слава.

А теперь я – подзаборная заснеженная пьянь, алкаш, пропойца, и я падаю в снег, заведя фары машины: вдруг менты?

Я – падал.

У меня умер отец.

Умер отец, а я напился так, что не могу разобрать – куда идти? Где я? Где мой дом?

Где он вообще – мой дом?

Десять лет назад все было по-другому. Рецензии в «Художественном журнале», выставки в продвинутых галереях второго эшелона, впереди маячили Венецианская биеннале и кассельская «Документа», а дальше – телевидение, Министерство культуры, мастерская, слава, почет, персональные выставки.

Как сказал бы дон Корлеоне: предложение, от которого трудно отказаться.

И если бы Саше Мореухову в самом деле предложили все это – биеннале, Минкультуры, персональные выставки, *all that jazz*, *все это говно*, – он бы согласился. Потому что все-таки мечтал о славе. О деньгах и о женщинах.

И тогда Мореухов испугался. Система дышала в затылок; ее смрадное дыхание отдавало сытой отрыжкой халявной вернисажной жратвы, щекотало гортань пузырьковыми поцелуями итальянского шампанского, смеялась по-английски, блестя не по-русски ровными белыми зубами.

Соня Шпильман, тогдашняя любовь Мореухова, гуляла свое последнее московское лето перед отъездом на историческую родину, в Израиль, – то есть они гуляли это лето вместе и вдвоем быстро поняли, что делать. Пару раз не успеть к выставке. Устроить пьяный дебош на вернисаже. В конце концов всем объявить, что разрабатываешь новый долгоиграющий проект: «Я – обычный пацан из московских окраин».

Правильно, конечно, говорить «с московских окраин» – но аграмматизм уже входил в моду.

Проект оказался вполне долгоиграющим. Можно даже сказать – успешным.

Более чем успешным.

Как говорил Малколм Макларен, *failure is the best success*.

Малколм Макларен, идеолог панка, творец Sex Pistols.

Боже, храни королеву!

Храни королеву – и спаси меня, твоего блудного сына в грязном московском снегу, в свете фар подъезжающей упаковки.

Два мордоворота. В теплой форме.

– Документы.

Дрожащей рукой – во внутренний карман. Вот, суки, московский паспорт. Даже не регистрация – прописка. Что, съели?

Листают, сверяют лицо с фотографией. Ну да, зубы тогда были на месте, а что? Зубы такая вещь – сегодня есть, завтра нет. Естественная убыль, усушка-утруска.

В рваном свете мигалки – табличка с названием улицы. Да уж, далеко я забрался. Где это – Мансуровский переулок? Самый центр, золотая миля.

Нормальные люди в таких местах не живут.

Хорошо хоть, теперь я знаю, в какую сторону идти.

– Пройдемте в отделение.

Ну, началось. Отмудохают, деньги отберут – ха-ха, не отберут, потому что денег нет! – ну хорошо, просто отмудохают, для забавы, как мистер Блонд в «Бешеных псах» – *потому что мне это нравится!* Потом – Димон, Тигр Мракович, капельница, отходняк, трезвость.

Ну нет.

– Ребята, – заплетающимся языком, – зачем в отделение? Я домой иду, недалеко тут.

Недалеко! Ха-ха! Надеюсь, теперь, когда я знаю, где я, мое «недалеко» звучит убедительно?

– Пошли, пошли, – и хватают за локоть.

На секунду – вспышкой, словно стробоскоп высветил: удар правой, вырвать дубинку, второму – промеж глаз. И – бежать.

Ну да. Кино семидесятых, видеосалоны моего детства, позабытый дом.

Я так не умею.

– Пошли, пошли.

– Ребята, – говорю я, – послушайте. Я пьяный, это правда. Но тут такое дело – у меня отец умер. Похороны вчера были. Отец, понимаете?

– Ага, – говорят, – конечно. У всех отец умер, как же.

– Послушайте, нет, в самом деле. Я с матерью жил, она говорила, что отец нас бросил. А это, мол, просто дядя Саша... ну, заходил иногда, я к нему тоже ездил, он геолог был, с ним интересно было. Я только потом догадался, когда фотографию увидел, он там с мамой в роддоме. Ну, и я в кулке с бантиком. Понимаете? Никакой не дядя, а отец. Почему-то скрывал, наверное, из-за жены. Хотя с ней все равно развелся, представляете? Но маму он сильно любил, я всегда чувствовал. Дети, они же чувствуют такое, правда? И он умер теперь, понимаете? Умер – и его закопали. Вчера. А меня даже на поминки не позвали, будто я и не сын ему. Как же так получилось, а?

И пока я говорю, они тащат меня к машине, но тот, который слева, вдруг останавливается и говорит второму: погоди, Коля! – и мы так и замираем посреди сугроба: два мента и я, распятый между ними.

И в этот миг время будто останавливается, я не чувствую холода, только вкус собственных слов на губах: *Как же так получилось, а?* Молчащая мама, любимый дядя Саша, неведомый «папа Вася» – как же так получилось?

Мой брат Никита, наверное, уже вернулся с работы домой к жене, лежит в супружеской кровати, держит свою Машу за руку, тоже думает: как же так получилось? Папа, мама, дядя Саша – и эта женщина, как ее – Лёля? – которую он сегодня впервые увидел. Что случилось с ними тогда, тридцать лет назад?

7. 1975 год. Сияющие пропасти

Света сидит у темного окна, глотает слезы. Желтый круг от фонаря, одинокие фигуры прохожих. Сколько раз ждала, пока появится Вася, – никогда больше не будет ждать. Даже если он в самом деле останется – не будет. Как он может остаться? Он ведь больше не любит. Он любит другую. Молодую, красивую. Говорят, она пишет стихи. Говорят, у нее номенклатурные родители в Ленинграде.

Света глотает слезы. Все в прошлом – полупрозрачные листы самиздата, разговоры о будущем России, запах детских пеленок, таз с кипящей водой на плите, подгузники на кухонной веревке, ночные крики маленького Никиты, все в прошлом. Невозможно жить с женщиной, который больше тебя не любит. Лучше одной.

Но Света не одна. У нее сын, маленький Никита. И вот она подходит к кровати, поправляет одеяло и...

Нет, не так, все не так. Откуда я знаю, что она думала, как все было в тот год, когда мне исполнилось семь? Попробуем заново, без ложного психологизма, без мелодрамы, без имен, холодным, логичным стилем семидесятых.

Начнем, скажем, так: была и у нее семья...

Была и у нее семья. Был Муж. Муж был борец за правду и справедливость. В запертом ящике письменного стола Муж хранил машинописные листки, где была написана правда. Каждый вечер на кухне Муж во весь голос обличал местные порядки, накрыв телефон подушкой. Мы живем в стране лжи, говорил Муж, всю нашу жизнь пронизывает ложь. Вот сегодня в Институте Начальник сказал про Коллегу: «Он так бездарен, что надо выписать ему премию». И выписал. И никто не возразил. Потому что мы живем в стране, где только единицы осмеливаются громко говорить правду. И Муж поплотнее прикрывал телефон подушкой, опасаясь Органов.

Ей было странно его слушать. Ее Отец и Мать детьми бежали от коллективизации, много лет скитались по стране, правдами и неправдами раздобыли себе подложные документы, родили детей в тридцать с лишним – по деревенским меркам, почти в старости. При этом во всех анкетах указывали, что происходили из семьи бедняков. Вступили в партию. Выступали на собраниях. Почти научились верить в то, что сами говорят. Прожили жизнь во лжи. И даже ночью, в подушку, не говорили правды. Потому что все подушки, которым они доверяли, остались в раскулаченных родительских домах, а Мать и Отца жизнь приучила не доверять тем, кого не знали с детства.

Ложь была всё, что у них оставалось.

Если бы Мать и Отец послушались моего Мужа, думала она, они должны были бы давно-давно пойти и написать на себя донос в НКВД.

Но она никогда не говорила об этом Мужу, потому что любила его. А ему так нравилось обличать по вечерам телевизионные новости, что она не могла его огорчить. К тому же в кругах прогрессистов циркулировали слухи, что вот-вот разрешат обличать ложь открыто, то есть не накрывая телефон подушкой. Когда она сказала об этом Отцу, тот сказал, что это верный признак, что теперь будут сажать за один факт обнаружения телефона и подушки в одной комнате. Муж, услышав это, очень смеялся и говорил, что его тесть – пессимист и параноик, тертый калач. Он забывает, какие грандиозные изменения случились в стране за последние двадцать лет, и потому все время ждет худшего. Наоборот, ответил Отец, я помню, какие грандиозные изменения случились в стране, и потому все время жду худшего. Это разумно, сказал Муж, если бы не оттепель, худшее давно бы случилось и больше нечего было бы ждать. Худшее давно случилось, сказал Отец, но вы не заметили.

Отец был, как всегда, прав: худшее давно случилось, но она не заметила. Муж пропадал на работе целыми днями, говорил, что пишет диссертацию, иногда даже по воскресеньям ездил в Институт. Мы так мало видимся, говорила она, а он отвечал: это потому, что я люблю тебя и Сына и хочу заработать побольше денег, чтобы вы жили достойно.

Однажды вечером, уложив Сына спать, она сидела у окна и ждала, когда Муж появится под фонарем, освещавшим дорогу от метро к их многоэтажке. Мы почти не видимся, потому что он любит меня так сильно, объясняла она себе – и вдруг поняла, что где-то уже сталкивалась с этой логикой. Благосостояние народа растет, поэтому в магазинах все меньше продуктов. Он так бездарен, что надо выписать ему премию.

Потом она стала находить в вещах Мужа длинные светлые женские волосы. Потом узнавать запах чужих духов. Потом позвонила жене Приятеля, с которым Муж вместе работал по вечерам, и узнала, что Приятель каждый вечер в семь возвращается домой.

Ты же говорил, что меня любишь, спросила она, как же так?

Я сказал правду, ответил Муж, я тебя в самом деле люблю.

Она посмотрела на него и почувствовала полное бессилие перед миром, в котором ей довелось жить. Отец и Мать прожили жизнь во лжи, но никогда не врали друг другу, потому что они были люди другого, старого мира. Где черное было черно, а белое – бело. Где если мужчина любит женщину, он хочет быть с ней.

Она сама и ее Муж родились в ином мире. И дело не в Органах. Органы – ерунда, думала она. Отец и Мать всю жизнь морочили им голову. Для людей нашего поколения главные враги – это мы сами. Мы сами – и наши близкие.

Давай разведемся, сказала она. Я тебе верила, а ты меня обманул.

Нет, ответил Муж, это ты меня обманула. Я тебе доверял, не прятался от тебя, а ты за мной следила.

Я лучше буду одна, сказала она. Так не легче. Но честнее.

Но ты ведь тоже любишь меня? – сказал Муж.

Нет, покачала она головой, я тебя больше не люблю.

Тем лучше, ответил он. Раз ты не любишь меня больше, ничто не мешает нам жить под одной крышей. К тому же я все равно бросил эту женщину. И диссертацию я решил не защищать.

Это не имеет значения, сказала она. Я теперь никогда не буду тебе верить. Никогда не буду спокойна рядом с тобой. Как если бы подушка, которой накрываешь телефон, вдруг оказалась суперсекретным магнитофоном. Такую подушку лучше выкинуть – и уж во всяком случае с ней нельзя спать в одной постели.

Давай останемся вместе хотя бы ради Сына, сказал Муж.

Давай, сказала она, потому что вдруг представила, как трудно будет разменять их двухкомнатную квартиру.

Сын вырос, в положенный срок прочитал машинописные листки, спрятанные в отцовском столе, в положенный срок покинул родительский дом и женился. Никита уважал отца и любил мать, но почему-то, когда он пытался представить себе, как родители не развелись в 1975 году, ему на ум всегда приходили дутые парадоксы и абсурдные силлогизмы того времени. Если обещают послабление, значит, всех посадят. Чем выше уровень благосостояния, тем меньше товаров в магазинах. Я так сильно тебя люблю, что мы почти не видимся. Это ты меня обманула – я тебе доверял, а ты за мной следила. Раз ты не любишь меня больше, ничто не мешает нам жить под одной крышей. Давай останемся вместе хотя бы ради сына.

У Никиты и Маши детей не было.

8. Четверга не будет

В утреннем зимнем сумраке Никита долго лежал рядом с Машей, старался снова уснуть. Потом встал и пошел на кухню – готовить завтрак.

Маша любит поспать утром. Маша любит завтракать вдвоем. В офис Никите надо к десяти. Максимум – к одиннадцати. Если приехать позже – все кувырком, пиши пропало, день псу под хвост. Так он объясняет Маше.

Они завтракают вдвоем. Она – в ночной рубашке, Никита подарил два года назад. Сейчас рубашка висит на ней, как на вешалке. Он голый по пояс, в одних джинсах.

– Приходи пораньше, – говорит Маша, – я без тебя скучаю.

Никита кивает, смотрит на часы. Девять ноль пять.

– По-моему, я поправилась, – говорит Маша. – Надо взвеситься.

Все женщины хотят похудеть. Маша мечтает поправиться. Ей кажется, у нее слишком плоский живот и почти нет груди.

У Даши большие груди, полные бедра. Она, конечно же, хочет похудеть.

Никита через стол передает жене еще один тост, Маша кладет сверху сыр, отпивает кофе. Девять четырнадцать. Поеду на машине – не успею, думает Никита. Что же это за город, если на метро быстрее чем на машине? Может, позвонить, сказать, что опаздываю? Нет, поезду на метро, так быстрее.

– Ты меня совсем не слушаешь, – говорит Маша.

Девять двадцать три.

– Я пойду, – говорит Никита.

Быстро надеть рубашку, свитер, зимнее пальто. Черт, ненавижу пальто, когда на метро. В куртке тоже нельзя – вечером на встречу. Джинсы и свитер – это демократично. Те, кому надо, видят: джинсы и свитер – дорогие, как-никак не с оптового рынка. А куртка – неприлично, какая бы ни была.

Девять двадцать восемь.

– Ты меня совсем не слушаешь, – повторяет Маша.

Никита смотрит, словно видит жену первый раз за утро.

– Я опаздываю, – говорит он, – прости.

Целует в щеку, выходит.

По дороге к метро набирает Дашин телефон:

– Прости, я задерживаюсь. Пробки по всей Москве, посмотри сама, какой снег.

Не говорить же, что слишком долго завтракал с женой. Ну и про метро тоже лучше не говорить – он же богатый папик, должен ездить на машине.

Никита не любит ездить на машине. Но каждый день говорит себе: выйду пораньше, не пойду в метро. Там противно, воняет омерзительно, домой весь потный приезжаю. Да, конечно, пробки, ехать долго – но я-то знаю: не в этом дело. Вон Костя давно говорит: не любишь сидеть за рулем – найми шофера, не так уж дорого, да и насчет парковки дергаться не будешь. Ты же нормально зарабатываешь, в чем дело?

Нет, думает Никита, как-то не вижу я себя в машине с шофером. Машины с шофером – это для серьезных мужчин, для тех, про кого глянцевого журналы снимают фотосессии, для тех, у кого берут интервью деловые издания. Косте вот машина с шофером идет. Костя – Настоящий Успешный Человек, ему, наверное, мама в детстве не объясняла сто раз: *Все зло от денег, нам и так хорошо, нам и так хватает.*

Вот поэтому я и езджу в метро: почувствовать себя живым человеком, не глянцевого персонажем из бизнес-приложения.

Даша живет с родителями на другом конце города. Никита еще раз позвонил от метро, зачем-то уточнил адрес.

Он немного нервничает. Ладно там, случайный секс в гостинице, а вот переться на край света, врать Маше, врать ребятам, прогулять пол рабочего дня – совсем другое дело.

Тоже скажешь – «прогулять», усмехается Никита, кто с меня спросит? Я же теперь – главный начальник, хозяин, владелец бизнеса!

Но все равно – Никита нервничает. Зачем Даша позвонила ему два дня назад? Спросила, как прошли похороны, – ну да, он сказал ей, что умер его дядька, ну и что? Не тот у них формат отношений, чтобы такое спрашивать. Никита ответил: *Хорошо*. А что надо было сказать?

Даша спросила:

– А что ты делаешь послезавтра?

Никита запнулся, хотел было буркнуть «работаю, что же еще?», но вместо этого сказал:

– Собственно, ничего не делаю. В первой половине дня совершенно свободен.

Зачем сказал – сам не знает. Надо было холодно отшить, не пришлось бы переться на край света, не пришлось бы брести под мокрым февральским снегом, плутая между одинаковых шестнадцатиэтажек, почему-то стесняясь спросить прохожих, где здесь дом 104, корпус 3.

Даша открывает дверь. На Даше восточный халат, едва запахнутый, матовая белизна тела сбегает от шеи почти до небрежно завязанного широкого пояса.

Никита снимает пальто, Даша протягивает вешалку. Как десять дней назад в прихожей офиса, они оказываются совсем рядом.

Вешалка с глухим стуком падает на пол, пальто выскальзывает из Никитиных пальцев.

Второй кофе за утро. На маленькой Дашиной кухне, точнее – на кухне Дашиных родителей. Лет пять назад у Никиты была примерно такая же. Теперь он сменил холодильник, купил новую микроволновку, потом Маша обои переклеила – совсем другое дело.

Тлеет ароматическая палочка. На краю стола – стопкой зачитанные книги в бумажных обложках. Йога, гороскопы, тайны мандалы, этот, как его... Пауло Коэльо.

– Тебе точно понравится, – говорит Даша, – это же мой любимый писатель! Хочешь – возьми почитать?

Она сидит совсем голая, капли влаги блестят на груди. Никита – голый по пояс, в одних джинсах. На часах – одиннадцать двадцать пять.

– Зачем ты бреешься налысо? – спрашивает Никита.

– В знак поддержки НБП, – отвечает Даша.

Детский сад.

С кем я связался? – думает Никита. Совсем девчонка. Малолетка.

Глупышка.

– Лимонов принес в политику дыхание магии, – говорит Даша, и Никита кивает, глядя на ее груди. Они чуть колышутся в такт Дашиным словам.

Дыхание магии, ага. Девичье дыхание у самого уха. Слабый стон – а потом снова: закатились глаза, напряглось тело, волны пошли туда-сюда, влага выступила из пор, а затем, как и в прошлый раз, утробный звук заполнил спальню, квартиру, дом, и Никита не успел даже подумать: то-то веселятся Дашины соседи! Потому что на этот раз они кончили вместе, выпившись друг в друга, и когда Никита вынырнул, он услышал, как Даша выкрикнула: *gonec*.

Ну да, она же объясняла: это у нее так каждый раз. Тогда было *любовь*, а сейчас – *gonec*.

Messenger по-английски. Никита идет в прихожую, поднимает пальто, вытаскивает из кармана мобильный. Так и есть, три неотвеченных звонка, все от Маши. И еще эсэмэска: «Позвони мне, я волнуюсь».

«Нокия» раздражается трелью прямо в руках.

Маша.

– Прости, у меня совещание, – говорит Никита. – Я тебе потом перезвоню.

Даша чуть слышно хихикает на кухне.

Сучка, с внезапной злостью думает Никита. Зачем я к ней приехал?

Двенадцать тридцать девять.

– Я пойду, – говорит Никита.

– Конечно, – отвечает Даша, – у тебя же работа.

Даша натянула футболку – и от этого грудь почему-то кажется еще больше.

Даша улыбается – и на секунду между зубами вспыхивает серебро.

Тринадцать пятнадцать, офис. *Привет. Привет. Как дела? Ужасные пробки, такой снегопад.* Они все на «ты» друг с другом и с ним, молодые ребята, чуть старше Даши. Они нравятся Никите: Наташа, Виктор, Зоя, его *команда*. Они ему доверяют, может, даже любят. Или уважают, или просто терпят – кто разберет? Другое поколение, к тому же – подчиненные. Сотрудники.

Сотрудников Никита находит через интернет – как правило, на аквариумных форумах. Их сейчас пятнадцать человек, включая сейла Зою и Виктора с Наташей, менеджеров. В основном, конечно, молодые аквариумисты подрабатывают. За пять сотен в месяц ездят по клиентам, чистят аквариумы, промывают донные декорации, следят за рыбками и меняют батарейки в автоматических кормушках.

Тринадцать пятьдесят пять. Летучка. Крупный корпоративный клиент затребовал копию устава. Зачем копия устава при покупке двух пусть даже самых *эксклюзивных* и дорогостоящих аквариумов? Вообще-то мы этого не делаем, но для вас. Я pošлю курьера, он все привезет прямо сегодня.

Все отлично, говорит себе Никита, бизнес идет хорошо. У меня прекрасная команда. Я полон сил. День удался.

Он уже не злится. Он думает: как же давно я не трахался по-настоящему! Даже забыл, как это здорово!

И тут – звонок от Даши. Словно мысли прочитала. Не надо, конечно, брать трубку – но не сдержался.

– Привет, – глухой торопливый голос, – я тебе должна сказать одну важную вещь.

Не сейчас, думает Никита. Не говори ничего.

– Я тебе перезвоню, – отвечает он, – у меня совещание.

Ах да, он уже обещал перезвонить Маше. Набирает номер:

– Что-то срочное?

– Нет, просто хотела сказать, что я тебя люблю.

Замечательно.

– Я тебя тоже люблю, моя маленькая.

Три неотвеченных звонка, чтобы сообщить: она меня любит. Удивительное дело.

Даше решил не перезванивать – и без того цейтнот, ни минуты свободной. Все-таки секс с утра пораньше может похоронить любой бизнес.

Может, ну и черт с ним, с бизнесом?

Никита улыбается.

Пообедать, очевидно, не получится. Хорошо еще, выйдя из метро, купил себе шаурму за сорок рублей, съел прямо на ходу, все пилились: приличный мужчина, в пальто, а жрет из кулька, словно бомж. Да вообще – я каждый раз, когда шаурму рядом с офисом покупаю, думаю: вот эти, которые продают, они меня уже узнавать стали, кивают, здороваются. Наверное, думают, бедная такая офисная крыса, *офисный планктон, замученный начальством*. А

я сам себе начальство, сам себя замучил. Сил ведь нет уже совсем, а где их взять, силы-то? Немолодой, не слишком здоровый, затраханый жизнью мужчина. Вот на днях шел по переходу, и такая тоска взяла, что хоть сядь прямо здесь, прислонись к кафельной стене, начни просить подавание. Подайте мне, люди добрые, силенок хоть немножко. И сел бы я, забрала бы меня милиция, нашла бы в сумке двадцать две тысячи американских долларов – и что бы я им сказал? Извините, люди добрые, это я деньги по двум договорам обналичил? Да, интересная вышла бы у нас беседа, при моей-то черной бухгалтерии.

Но это было недели две назад. Дядя Саша еще был жив. Ну и Даши никакой не было в помине.

Теперь, наверное, все будет по-другому, думает Никита. Ничего, что пообедать не получится. Зато поужинаю *гламурно*.

Гламурно – Дашино словечко. По всей видимости, означает «роскошно». *Мажорно*, как сказали бы мы лет пятнадцать назад.

Значит, гламурный ужин. Ну, придется ловить машину – ехать в «Пушкинь» на метро как-то несолидно.

Никита пристегивается – старая привычка, еще с тех пор, как подрабатывал извозом, – и тут звонит мобильный. На электронных часах водилы – шесть пятьдесят две.

Глухой Дашин голос:

– Привет. Ты же обещал перезвонить.

– Я был занят.

Нарочно говорит холодно, почти сердито. Надо все-таки показать этой малышке – он занятой человек, нечего ему названивать. У него дела, бизнес. Жена, в конце концов.

А тут за день – пятнадцать пропущенных звонков, и все от нее.

– Это очень важно, – говорит Даша. – Приезжай ко мне, прямо сейчас.

– Я не могу, у меня встреча.

Добавить немного раздражения, ничем не выдать себя, не дать почувствовать, как с каждым ее словом нарастает возбуждение.

– Это очень важно, я же говорю.

А может, отменить?

Нет, надо взять себя в руки. Это всего-навсего случайный секс, даже не роман.

Что она себе воображает?

– Я не могу говорить, извини. Перезвоню потом.

Отбой.

Что-то не так с самого утра. С пробуждения в зимней полутьме, с Машиной фигуры, неподвижно свернувшейся под боком. Что-то не так.

Семь двадцать восемь. Гардероб «Пушкина». На экране – еще двенадцать неотвеченных звонков.

Наверное, можно перезвонить.

– Даша, давай я тебе объясню. Если я говорю, что занят...

– Я так рада, что ты перезвонил! Ты приедешь?

– Даша, я же сказал: нет.

– Я просто не хочу по телефону.

Я тоже не хочу по телефону, я хочу живьем, я хочу с тобой, еще и еще раз, снова и снова, переводит дыхание, в конце концов, он взрослый мужчина, за это его и должны любить.

Говорит холодно:

– Давай я приеду в четверг. Тогда и скажешь.

И вдруг – резкий крик, почти визг:

– В четверг будет поздно! Приезжай, я тебя прошу!

Истеричка.

– Даша, у меня встреча, потом я еду домой, что случилось?

А может быть – то и случилось? Может, она просто хочет его так же, как он – ее?

Нет, так не бывает. Зачем молодой красивой девушке сорокалетний лысеющий мужик?

Ну, понятное дело, много за чем. Деньги, подарки, квартиру снять. Небось, мало радости жить с родителями, на краю света, почти у самого МКАД.

– Приезжай ко мне, пожалуйста. Я очень тебя прошу. Это правда важно.

– Скажи по телефону.

– Ты не поверишь.

Вдруг серебристым промельком – предательская мысль: *неужели беременна?* Да нет, она же сама достала гондон. Сама достала? А может?..

– Поверю. Ну, говори.

Даша смеется – незнакомым нервным смехом:

– Сегодня ночью все кончится.

– В смысле? – спрашивает Никита и видит Владимира. Тот машет ему рукой, спускаясь по лестнице.

– Все кончится, вообще все. Не *гонец*, а *конец*. Конец света, понимаешь?

– Угу, понимаю, – говорит он, удивляясь нелепости сцены: гардероб «Пушкина», партнер спешит поздороваться, а сумасшедшая девчонка изображает Марию Дэви Христос или как там ее.

Угрозило все-таки связаться с малолеткой.

– Нет, на самом деле, я знаю, нам надо увидаться, я боюсь, понимаешь, я не хочу одна, я не хочу ни с кем другим, приезжай ко мне, ничего не привози, понимаешь, завтра уже ничего не будет, я боюсь, я боюсь, я очень тебя прошу, поверь мне, я-то знаю, я никогда так не делала, я не вру, я знаю, не надо в четверг, не будет четверга, и среды не будет...

Тараторит быстро, захлебываясь. Неужели плачет?

Истеричка. Малолетняя дура и истеричка. Или хуже того – наркоманка. Предсказания, благовония, гороскопы, йога и это, как его? – холотропное дыхание.

От девушки, у которой любимый писатель – Пауло Коэльо, добра не жди.

– Я перезвоню, – говорит он и протягивает руку Владимиру.

Обсуждают новый проект, сеть ресторанов по Москве. Аквариумы, внушает Никита, должны быть центром композиции. Так сказать, точкой сборки.

– Этнический стиль, – говорит он, – в каждом ресторане свой. Вместо того чтобы строить огромные декорации, выставить по аквариуму у каждого стола, на дне – развалины храмов и городов. Я могу сделать точные копии реальных руин, этого ни у кого нет вообще. Плюс тексты под стекло на стол, исторические справки, чтобы было чего почитать, пока заказ несут. Аквариумы я сделаю по себестоимости, мне, честно говоря, интересней всего поддержка.

Да-да, по себестоимости. Кто же ее знает, себестоимость, кроме самого Никиты?

Владимир слушает как надо. Правильно слушает. Пожалуй, это первый правильный момент за весь день. Вероятно, потому, что Никита отключил в телефоне звонок.

Двадцать пятьдесят пять. Еще пятьдесят четыре неотвеченных звонка. Первые двадцать восемь – от Даши, последние двадцать четыре – тоже. Два – от Маши.

За весь день Никита не вспомнил о Маше ни разу, если не считать дневного разговора. Что поделать: семь лет брака.

– Да, милая, – говорит он, – я уже еду.

– Я в гостях у Оли. Заберешь меня?

Оля живет рядом с офисом, по дороге домой Никита иногда заезжает за Машей.

Ему нравится, когда Маша ходит в гости. Или по магазинам. Или в кино. Вообще – когда выходит из дома. Потому что иногда Никите кажется: за ним закрывается дверь – и Маша

замирает, словно выключили батарейку. Замирает в глубоком антикварном кресле, даже вечером, не включая свет, свернувшись калачиком, глядя в темноту.

Неприятно. Очень депрессивная картина.

– Я в «Пушкине», – говорит Никита, – возьми лучше такси.

– Ну ладно. Тогда я еще посижу.

Может, поехать теперь к Даше? Впрочем, нет. Надо держать дистанцию. Надо показать: он – взрослый человек, у него своя жизнь, бизнес, семья. Полсотни звонков, рехнуться можно!

Вкус дешевого серебра во рту, влажные, скользкие под пальцами плечи, сережка в левой брови, слабый стон, крупная дрожь, рвущийся наружу гул...

Я не хочу одна, я не хочу ни с кем другим, приезжай ко мне.

Я, наверное, тоже не хочу ни с кем другим.

Но не поеду. Ни сегодня, ни в четверг. Сама же сказала – четверга не будет.

Вот и не будет. Пора кончать с этой историей.

Еще два неотвеченных звонка.

Ноль часов сорок три минуты. Маша выходит из ванной, Никита в кровати смотрит альбом с видами Индии.

– Как прошел день? – спрашивает она.

– Совсем вымотался, – отвечает Никита, – устал, сил нет.

Они засыпают. Перед сном Никита вспоминает Дашу – утреннюю, еще не проснувшуюся, теплую, сладкую, пахнущую сном и постелью. Нет, все-таки еще разок – можно. Напоследок, пока не затянуло. Она вроде говорила – в четверг?

Это даже мило: не хочу одна, не хочу с другим, приезжай, приезжай.

Конец света, в самом деле.

Засыпая, Никита протягивает руку и сжимает Машину ладонь.

Если этой ночью все и вправду закончится, пусть Маша знает: он рядом.

9. Ненадежный приют

Никита засыпает, держа меня за руку.

У него красивая кисть. Сильные пальцы, овальные гладкие ногти, выступающие сухожилия. Светлые волоски, почти незаметные, но жесткие на ощупь.

Он спит, держа меня за руку, а я никак не могу уснуть.

Мне страшно засыпать. Будтоходишь в холодную воду, медленно погружаешься, ныряешь с головой, не зная, что увидишь на дне.

Тем крымским летом я ныряла одна, Никита смотрел с берега. Только потом сообразил: боится плавать.

Я не боялась ничего. Мне было двадцать девять лет. Никогда прежде я не была так красива, как тем летом.

И никогда уже не буду.

Время выжало меня, будто стирание белья, кинуло на просушку, будто мятую тряпку. Когда-то я думала: *время не щадит никого*, но теперь знаю – это не так.

Время изменяет всех, но мужчинам идут залысины, неторопливость походки, основательность фигуры. Во всяком случае – Никите. А до других, если честно, мне давно нет дела.

Его руки почти не меняются. Разве что семь лет назад появилось обручальное кольцо рядом со старым, дедовским, которое Никита никогда не снимает.

Моя кожа тускнеет, сохнет, покрывается мелкой рыбацкой сетью, в ней пойманными рыбами бьются прожитые годы. Волосы выпадают, и по утрам я смотрю на подушку, борясь с соблазном пересчитать волосинки.

Однажды не удержалась. Теперь я знаю: двести пятьдесят три волоса – это почти горсть.

Я боюсь облысеть. Боюсь, через несколько лет исчезнет грудь, живот прилипнет к позвоночнику, глаза провалятся. Иногда я сама себе кажусь живым мертвецом.

Девять лет назад я не боялась ничего. Теперь я не могу заснуть от страха.

А Никита научился нырять с аквалангом. Мне кажется, теперь он ничего не боится. *Махнемся не глядя?* – как говорили у нас в детском саду.

Я не хотела идти в детский сад. Мне казалось, что мама однажды не заберет меня, оставит там навсегда. Только потом я узнала, откуда этот страх – эхо детдомовского младенчества, первых месяцев моей жизни.

Мама сама рассказала. *Понимаешь, иногда дети по ошибке рождаются не у своих родителей. И те могут отдать их в такое специальное место, где настоящие родители их находят. Как мы тебя.*

Мне было шесть лет, я не знала, откуда берутся дети. Наверное, думала про аиста, который может перепутать свертки, или про магазин, где после долгой очереди можно купить ребенка – и по ошибке могут продать не того.

Когда мне было десять, папа объяснил: *Древние индусы верили в перерождение души. Я считаю, что ты – тот ребенок, которого мама так и не смогла родить.*

Я знала, что детей вынимают из живота, но не очень понимала – как это можно не суметь родить?

Я уже не верила в аиста и в магазин тоже не верила, но в перерождение душ поверила сразу. И продолжаю верить. Я верю, что одна и та же душа путешествует из тела в тело, не обращая внимания на историческое время, иногда по многу раз рождаясь в одном и том же столетии, чудом не встречая себя саму в предыдущем (последующем?) облике.

В это я верю. Точнее – знаю. И поэтому я лежу без сна, сжимая Никитину руку. Я боюсь уснуть.

В полупрозрачном вязком пространстве между явью и сном возвращаются мои прошлые жизни, проникают в меня, словно щупальца, наполняют меня до краев.

Мужчины, женщины, дети.

Внутри уже нет места для меня самой.

Я сжимаюсь в клубок, пытаюсь вытолкнуть из себя прошлое – оно было моим, не было моим, возможно, не было вообще.

Неудивительно, что я хUDEЮ: наверное, мне кажется, что когда я совсем иссохну, призраки отправятся искать себе другое вместилище.

Но, может, еще раньше я привыкну к ним. В конце концов, это мои прошлые жизни. Я их уже узнаю: старуха вертится перед зеркалом, мужчина смотрит на реку, девушка обхватывает руками беременный живот, мужчина прикладывает пистолет к виску, солдат выдергивает чеку гранаты, голый мужчина готовит завтрак, девочка смотрит на Черное море, мужчина опускается на колени перед своим любовником.

Они кричат, смеются, плачут, стонут, вздыхают... Иногда мне хочется распахнуться им навстречу, обнять их, сказать: входите, вот она я, ваш ненадежный приют, ваше будущее, реинкарнация, перерождение. Не плачьте, все ведь сложилось хорошо, посмотрите на меня, я гораздо счастливее вас: у меня все прекрасно, любящий муж, дом, машина, хозяйство, полная чаша. Меня не били на допросах, моих друзей не убивали, радиация не разъедала мою плоть, я не ждала ареста. Я не думаю о деньгах, не думаю о выживании, не думаю, где буду завтра спать и что буду есть. Я вообще не помню, когда я последний раз была голодна.

Но бесплотные призраки проплывают передо мной, колышутся в толще сна, клубятся в сумрачных углах огромной квартиры. Они уже прожили свою жизнь, они уже не успели, не сбылись, не допили горькую воду земного бытия, не доели полынный хлеб посмертного изгнания. Они всегда голодны.

Они едят меня изнутри. Моя жизнь – пища для тех, кем я была когда-то. Они вгрызаются в мою плоть – и каждый месяц наружу выливается кровь, свидетельствуя: пир продолжается, призраки не насытились, они по-прежнему несчастны.

Каждый месяц согласно фазам луны плюс-минус день я получаю одно и то же письмо.

Там написано: *у тебя опять не будет ребенка.*

10. Реинкарнация. Нина

Засыпая, мы держимся за руки. Коля, мой Коля-Николай. Я хочу спать, повернувшись к тебе лицом, но с каждым месяцем это все труднее. Наверное, можно считать, что мы спим втроем, правда? Всего два месяца осталось – и родится наш зайчик. Интересно, мальчик будет или девочка? Старухи в деревне всегда угадывали – по походке, по форме живота, по другим приметам.

Вот уже, почитай, пять лет прошло, а я все не могу привыкнуть, что Березовки моей больше нет. Правда, внучатый племянник старого Георгия написал в прошлом месяце – дескать, на ее месте собираются построить совхоз. Не знаю даже... вроде хорошо. Снова коровы замычат, куры будут бегать, как будто войны и не было. Ну а посмотришь – все же такая жуть случилась, как людям там жить?

Я Коле рассказала, он и говорит: а что мы в квартире погибшего солдата живем, тебе ничего? Так, мол, и должно быть. На место умерших бойцов приходят новые.

Только бойцов у нас в Березовке не было. Дура Лушка спрятала двух партизан – и все.

Нина смотрит на улицу – там двухэтажные деревянные дома, инвалид на скамейке разговаривает с двумя бабами. Из соседского окна слышен патефон.

Это – Москва, столица Союза Советских Социалистических Республик, первого в мире государства рабочих и крестьян. Глухая окраина, Сокольники.

Нина гладит круглый живот, уговаривает мальчика или девочку потерпеть немного, не пинаться, полежать смирно. Врач сказал, с ним уже можно разговаривать. Или с ней?

Нина ждет мужа. Целыми днями сидит дома, боится выходить. Даже днем на улице могут напасть, отобрать деньги, просто раздеть. Могут и ножом пырнуть, и пристрелить. Очень уж блатных много.

Коля говорит, все началось после войны. Раньше Москва была другая. А теперь приучили убивать – вот люди никак и не остановятся.

Нина не умеет убивать. Она умеет только не умирать, только прятаться.

Два месяца она скрывалась в лесах, питалась ягодами, иногда рыла картошку на сгоревших огородах Березовки. При звуке мотора падала на землю, замирала.

Раньше Нина любила ходить по лесу. Мама смеялась, называла «моя лесная девочка».

Мама сгорела вместе со всей деревней. Нина осталась жива – утром пошла за грибами, когда появились каратели – схоронилась в лесу, не выходила, пока все не кончилось.

Пока все не умерли.

Коля говорит, он бы в лесу не продержался и дня. Я, говорит, волков боюсь. Смеется, наверное, – ничего он не боится.

За него боится Нина.

Боится, что Колю зарежут, чтобы отобрать пистолет.

Боится, что Коля остановит кого-нибудь проверить документы – а тот начнет стрелять.

Боится, что Коля пойдет брать малину – и его убьют в перестрелке.

Боится, что Коля зайдет в подъезд – а там засада.

Нина говорит: береги себя, ради бога. Подожди хотя бы, пока ребенок родится!

А Коля отвечает: Я присягу давал. Если я их не остановлю – они же дальше убивать будут. Вот недавно в Марьиной Роще вырезали целую семью. Даже ребеночка маленького. Двадцать пять тысяч рублей унесли.

Огромные деньги. У Коли зарплата всего пятьсот пятьдесят. Это сколько надо работать за такие тыщи?

– А сколько было ребеночку? – спрашивает Нина.

– В колыбельке еще, маленький совсем, – отвечает Коля. – Убили, чтобы не кричал.

Зачем он рассказывает? Нине хочется еще раз услышать, как после родов Коля возьмет отпуск и не будет ходить на работу каждый день. Нет, не хочет Коля говорить про отпуск, отвечает Нине: погоди, всех переловим – тогда заживем хорошо, счастливо!

Нина не верит. Помнит, как говорили: выгоним фрица – заживем хорошо, счастливо! Где ж нынче то счастье? Она теперь каждый день мужа как на фронт провожает!

Впрочем, сама виновата: знала, за кого замуж вышла. С первой минуты. Но все равно – Коля был такой красивый в новой форме, в синей, с красным кантом. Фуражка с голубым околышком. Сапоги. Как на танцах его увидела – сразу влюбилась. Коля потом сознался: из-за формы в милицию и пошел, давали бесплатно, а то носить нечего.

Еще на фуражке была звезда, в центре – солдат с винтовкой наперевес. Нине тоже очень нравился.

Тогда Нина только приехала, боялась Москвы – просто жуть! По улицам пробиралась все бочком, бочком – а мимо, сплевывая под ноги, шли-форсили местные, ничего не боялись. Их на улице сразу было видно: кепка-восьмиклинка, хромовые сапоги, белый шарф-кашне.

Коля потом сказал: это блатные. То есть – бандиты.

– Почему же они так по улице ходят, никто их не арестовывает? – спросила Нина.

– Ну, нельзя человека за кепку-восьмиклинку арестовать, – засмеялся Коля. – Но не волнуйся, скоро ходить перестанут. Жаль только, вышку отменили. Ну ничего, при случае сами будем разбираться, – и подмигнул.

Вышка значит высшая мера наказания. Расстрел. Ее отменили год назад. Коля говорит: лес некому валить в Сибири.

Нина думает: вот родится ребенок – и как будет жить? Хорошо еще, война кончилась. Но все равно: неужели всю жизнь в городе? Ни леса, ни реки настоящей. Конечно, можно съездить в ЦПКиО, там с пристани ныряют, плавают – только Нине как-то неловко. Она ведь плавает как деревенская, в Москве, небось, у всех какой-нибудь стиль.

Нина сидит дома, ждет мужа. Сидит, ждет, волнуется, тревожится, боится. Читать толком не читает, патефона у них нет, даже радиоточки нет, дом-то старый. Не знаю, были тогда вообще телевизоры или нет, но у Нины с Колей точно не было.

Я тоже сижу дома, тоже дожидаюсь Никиту, тоже волнуюсь за него – хотя чего мне волноваться? Бизнес у Никиты мирный, машину водит аккуратно. А я все равно волнуюсь.

Хотела бы сказать: *Не знаю, как я бы волновалась на месте Нины*, – но не могу: я – это она, она – это я, значит, когда-то я вот так сидела, ждала мужа с работы, скучала, глядела в окно, гладила беременный живот, боялась выйти на улицу.

Как странно чувствовать внутри себя чужие жизни! В памяти вдруг всплывают обрывки чужих мыслей, ненужных знаний. Какие ягоды съедобны. Где лучше собирать грибы. Как залезть на дерево и устроиться так, чтобы ночью не свалиться.

А иногда привяжется какой-нибудь мотив, звенит в голове час за часом. Даже слова можно разобрать:

Отец мой фон-барон ебет свою красотку,
А я, как сукин сын, свою родную тетку
Всегда, везде,
С полночи до утра,
С вечера до вечера
И снова до утра.

Отец мой фон-барон ебет одних богатых
А я, как сукин сын, кривых, косых, горбатых

Всегда, везде,
С полночи до утра,
С вечера до вечера
И снова до утра.

Я знаю: это пели мальчишки, Нина проходила по двору и слышала эту песню. Вот теперь она и звучит у меня в голове. *Всегда, везде, с полночи до утра* – и я не знаю, насмешила эта песня Нину, напугала, раздосадовала? Меня от нее берет тоска. *Всегда, везде* – то есть в этой жизни и в предыдущих, круглые сутки, ночью и днем, я сижу в кресле, на стуле, на табурете – и жду, пока любимый вернется домой. И боюсь: вдруг с ним что-то случится.

Когда я – Нина, я глажу свой большой беременный живот. Когда я – Маша, я снова и снова крашу ногти на ногах, хотя никуда не собираюсь выходить. Меня это успокаивает.

Коля приходит домой, рассказывает, как взяли на днях банду Казенцова прямо в поезде с перестрелкой. Они в детский вагон забились, их проводник заметил, позвонил куда надо. Выяснилось: машины угоняли. Просили шофера за город отвезти, а там убивали. Теперь их самих убили, двоих по крайней мере.

Коля говорит, в Москве слишком много оружия. Трофейное, привезенное с войны, отнятое у милиционеров, украденное с завода «Серп и Молот», куда старое сдают на переплавку.

Чтобы у милиционера пистолет нельзя было вытащить, объяснил Коля, он надет на специальный красный шнур. Шнур поднимается по борту мундира, огибает шею, спускается по другому борту. А в рукоятке у пистолета – специальное ушко, за него шнур крепится. Коля объяснил и даже показал, но я все равно не понимаю: лучше бы пистолет можно было просто отнять. А так, если какой блатной пистолет захочет – он же убивать будет?

Я очень боюсь за Колю. С тех пор как забеременела, боюсь еще больше.

А сначала была так рада! Представляла, как ребеночек у меня растет там, внутри, ходила к врачу раз в месяц – врач рассказывал, когда глазки появляются, когда ручки. Жалко только, родится он в Москве, не в деревне. Разве здесь – жизнь? Чего я сюда поехала? Наверное, знала – Колю встречу. А больше здесь и нет ничего хорошего, в Москве.

Хорошо, что я в училище не поступила. Так бы учиться пришлось – а, глядишь, ребеночек родится, Коля и одумается. И уедем мы вместе отсюда, куда глаза глядят.

Я уже почти год здесь живу, а понять не могу: что сюда людей тянет? У врача в очереди познакомилась с бабой, как я, на сносях, но старше будет, Марфой зовут, тоже из деревни, но в Москве давно, с до войны еще. Она добрая, утешает меня, говорит, рожать не страшно. Страшно, говорит, жить, а еще страшней – умирать. Я тогда сказала, мол, я знаю, у меня вся деревня погибла. А она меня по голове так погладила, сказала: *бедная!* – и я почувствовала на минутку, будто мама снова со мной. Хотя грех, конечно, так говорить, другой мамы у меня не будет. Я сама теперь – мама. Осталось-то всего два месяца.

В очереди к врачу бабы рассказывали страшное: будто можно за деньги ребенка извести. Если рожать не хочешь. В Березовке тоже говорили, мол, девки отвары всякие пьют, если чего случилось. Я маленькая была, но понимала, чего говорят. Ну, отвар – это понятно. А тут вроде как можно найти тайного врача, и он за полторы тысячи рублей, ну, это... все сделает.

Полторы тысячи! Это какие же деньги! У кого они быть-то могут, подумать страшно! Вот я каждый месяц считаю, как на пятьсот пятьдесят прожить. На двоих – с трудом. А тут еще ребенок, его же тоже кормить надо.

Поскорее бы он родился, мой зайчик. Если будет мальчик, пусть будет похож на Колю. А если девочка – на маму. Чтобы бровки вот такие были, и уши тоже.

Пусть будет как мама. От нее ведь ни фотографии не осталось, ничего. Все сгорело.

Мама порадовалась бы сейчас за меня. Мама, наверное, и так радовалась, когда умирала. Знала, что я спаслась.

Коля надо мной смеется, но я все равно знаю: Бог где-то есть. И мама моя сейчас с ним рядом, на облаке, смотрит на меня, видит: у меня будет мой зайчонок, мой мальчик, моя девочка – вместо нее, вместо папы, вместо тети Кати и дяди Славы, вместо хромого Митрича и старухи Анфисы. Вместо всей нашей деревни.

Родись поскорее, зайчонок. То есть родись в срок, но чтобы мне ждать не очень долго. Я немного боюсь рожать, здесь надо ехать в больницу, люди там незнакомые, вдруг сделают чего не то? Страшно.

А вот на днях шла я по улице и видела – девочка в классики играет. Синенькая юбочка, ленточка в косе. Посмотрела на нее – и подумала: если будет девочка – лет через десять так же будет прыгать. И так хорошо мне стало – просто слов нет.

Вот она сидит день за днем, девочка Нина из сорок восьмого года, и все тяжелеет и тяжелеет, и на сердце у меня – тоже тяжесть. Потому что *всегда, везде, с полночи до утра* — это одна и та же история, и я знаю, что будет дальше.

За две недели до родов Нина поставит на плиту картошку в мундире, хватится, что нет соли.

Пойдет к тете Вере, своей соседке.

Постучит, никто не ответит, Нина толкнет дверь, крикнет: Тетя Вера! – войдет, и ее ударят чугунным утюгом, будут целить в голову, но она успеет отскочить, а потом услышит шепот: Добей ты эту суку! – прикроет руками нерожденного младенца и заорет, но недостаточно громко. Только когда второй налетчик ударит в живот – тогда закричит так, что крик услышат во всем доме, во дворе, даже на улице – и он понесется над соседними крышами, над парком «Сокольники», над набережными Москвы-реки, над аттракционами ЦПКиО, над брусчаткой Красной площади, над пирамидой Мавзолея, над звездами Кремля, над пустым котлованом на месте взорванного Храма, над деревянными домами послевоенной Москвы, над хазами и малинами, над отделениями милиции, над тюрьмами и зонами, над вестибюлями метро, над кинотеатрами и домами культуры – над всей послевоенной Москвой, над несчастным городом-победителем, над пацанами без отцов, женщинами без мужей, мужчинами без рук, без ног, без совести, без страха, без семей, без памяти, без любви.

А Нина все падает на окровавленный пол, все кричит, кричит....

Еще один удар – и она бы замолчала навсегда. Налетчики убили тетю Веру – могли убить и Нину. Проломить голову, перерезать горло, забить тем, что под руку подвернется, но они убежали.

Их поймают через два дня. Может, кого-нибудь застрелят при задержании.

...А Коля бежал по улице, прижимал к себе крошечное тельце, и пуповина болталась, как еще один красный кант, и весь Колин красивый мундир был в крови. Коля бежал, и ругался, и плакал, и не успел.

Это был мальчик.

Через два года они уехали из Москвы. Совхоз, построенный на месте сожженной Березовки, дал им дом: хороший мужик в деревне всегда пригодится. Так и жили, до самой смерти. Коля выучился на тракториста, Нина работала и дояркой, и птичницей, и продавщицей в сельпо – кем только не работала. Одно время даже воспитательницей в детском саду. Но недолго.

Своих детей у них не было. Коля умер в 1985-м, Нина – на год позже.

Иногда я вижу ее совсем старой. Руки сложены на коленях, сидит на табуретке у окна, старшеклассницы на скамейке хихикают с парнями. Из открытой машины доносится музыка.

Некого Нине ждать, нечего бояться. Ее жизнь закончилась.

Только в голове, как заезженная пластинка, *всегда, везде, с полночи до утра, с вечера до вечера и снова до утра* — как наваждение, как заклятие, как обещание: все еще повторится, все еще будет.

11. Мокрый снег

На выходе из вагона пьяный мужичок пытается ухватить за рукав – *эй, узкоглазка, ты куда?* – Аня привычно уворачивается, бросает через плечо «отстань, козел!», выскакивает на платформу.

Потом тоже привычное: эскалатор, вестибюль, мокрый снег в лицо.

Тот же самый снег сейчас летит мне в морду, тот же самый снег хлюпает под ногами, тот же самый снег, снег, в который так сладко падать, когда совсем не остается сил, когда думаешь: я никогда не вернусь домой, я умру здесь, на улице.

Как же мне знаком этот снег!

Как же он знаком Ане! Как же ей знакомы переходы метро!

Две зимы на оптовом рынке, полгода за лотком в подземном переходе!

Такое не забывается.

Это теперь, после трех лет в «ИКЕЕ», она – квалифицированный персонал. Продавщица-консультант. Официальное оформление, страховка, все такое прочее.

Снег и дождь – только по дороге на работу.

Стабильность. Как Путин пять лет назад обещал, одно к одному.

Выходит, я сделала карьеру, улыбается Аня.

Главное, чтобы опять не грохнуло, как в девяносто восьмом. Ну, будем надеяться, обойдется.

Хорошая работа, квартира недорогая, всего три сотни. От метро пять минут, деревья во дворе, с Гошей гулять можно. Детский садик недалеко. Правда, за стенкой алкоголики, а соседка снизу – чокнутая. Чуть что – милицию вызывает. У Ани, мол, все время буянят и шумят.

Сумасшедшая, одно слово.

Но это все ерунда.

И Аня улыбается под мокрым снегом, месит ногами талую жижу, еще десять минут – и заберет Гошу из детского садика, пойдет домой. Там мультики посмотрят, книжку прочитают. Счастье.

За четыре года Аня сменила пять квартир. В первой внезапно умерла хозяйка, наследники не смогли договориться, пошли в суд, пришлось съехать. Хозяин второй приставал, но даже не обещал сбрасывать цену. В третьей через полтора года мирной жизни плату вдруг повысили в два раза.

В четвертой однажды ночью Ане приснился дождь – и она проснулась.

Была зима, минус двадцать два за окном, но, лежа в темноте Аня по-прежнему слышала шум весеннего ливня. Всемирный потоп, хляби небесные. Встала, выглянула в окно (там беззвучно опускался снег), поправила Гоше одеяло (голая ножка вылезла, пальчики поджаты, пяточка розовеет в полутьме), пошла в ванную. Щелкнула выключателем, открыла дверь – и охнула.

Все тонуло в молочном парном тумане, клубящаяся белизна вырывалась в коридор, едва разглядела – льет с потолка крутой кипяток. Так и стояла, пока змейка горячей воды, перебравшись через порог, не подползла к ногам – едва отскочила.

Схватила Гошу, побежала к соседям, вызвала спасателей, потом хозяина. Оказалось, наверху прорвало трубу – хорошо еще, в ванной никого не было.

С тех пор нет-нет да и приснится сон: она стоит в комнате, с потолка льется вода, только почему-то не горячая, а холодная, словно бесконечные осенние дожди тех давних вещевых рынков.

Звонит Анин мобильный. Страшно неудобно говорить на ходу, особенно когда с неба падает такая мокрая мерзость. Смотрит на определитель: Андрей.

Ругнувшись, снимает трубку.

– Привет, милая.

– Привет.

– Слушай, а я вот подумал – на что бы нам сходить в пятницу вечером? Я тут «Афишу» смотрю, они пишут, что...

Аня стискивает зубы и перехватывает сумку поудобней. Мокрый снег летит в лицо, голос Андрея пересказывает уже вторую рецензию.

Познакомились они летом, прямо в магазине, как и с Викой, – где же еще знакомиться? Уже много лет почти все знакомства – на рабочем месте. Сменщицы, напарницы, девочки-продавщицы из соседних палаток, торговки из овощных рядов. Те, с кем отмечала дни рождения, те, кто до сих пор узнает и подбирает помидоры покраснее, а черешню – послаще.

Свои девчонки никогда не обманут, на них можно рассчитывать. На мужчин, конечно, нет – это мама всегда говорила.

Ну да, мужчины. Грузчики, шоферы, охранники. Когда-то – бандиты, наша крыша. И конечно, хозяева и их холуи, приезжающие за вырубкой на битых и, реже, новых иномарках.

Все они были простые ребята, без закидонов. Иногда хотели тепла чужого тела, упругой плоти под разгоряченной пятерней, нескольких поцелуев, бурного финала – и Ане тоже не нужно было от них ничего, кроме крепких объятий, сильных рук, размеренных движений, отчаянного заплыва к судорожному синхронному оргазму.

На прошлой неделе Зинка спросила, умеет ли Аня этот самый оргазм имитировать. Только плечами пожала: никогда не нужно было, всегда все само получалось. А не вышло бы – притворяться не стала бы, вот еще!

Да и мужиков ее, похоже, это мало волновало – ну, которые были у Ани раньше, до Андрея.

Они ведь были простые ребята, мужских журналов не читали, и перед тем, как пойти в кино, им не приходило в голову изучать «Афишу», да еще и пересказывать прочитанное подружке, которая идет под мокрым снегом, прижав к уху дешевый мобильный.

– Короче, пишут, хорошая, трогательная мелодрама. Типа женское кино. Пойдем?

Аня не любит ни женское кино, ни женские романы. Если что и читает, то Бушкова и Корецкого: крепкое мужское чтение, перестрелки, brutальный секс, решительные мужики. Простые ребята, без закидонов.

По утрам, делая гимнастику, Аня сама воображает себя супергероем, Бешеным-Стреляным-Молотым-Колотым. Двадцать пять минут, как по часам. Двадцать пять минут, уворованных у самого сладкого утреннего сна, у заспанного сына, приученного самому одеваться и бежать делать зарядку вместе с мамой.

– Пойдем, – говорит она.

Андрей, небось, сидит в пробке. В машине тепло, мокрый снег только за окнами. Одна рука на руле, в другой – мобильный.

А у Ани сумка все время соскальзывает с плеча, мокрый снег в лицо, неудобно.

– Целую, милая, – говорит Андрей.

– Я тебя тоже, – с облегчением отвечает Аня, прячет мобильный в карман, вытирает ладонью мокрое лицо. Почему-то вспоминает – Андрей, когда целуется, всю облизывливает. Пару раз на него прикрикнула, вроде перестал, но иногда забывается – и опять.

Тогда, летом, он пришел купить туфли. Аня улыбнулась своей икейной улыбкой – и он сразу разулыбался в ответ, прочитал имя на бейджике, назвал Анечкой. Выбрал хорошие туфли, английский Clarks, потом спросил, что Аня делает после работы. Аня улыбнулась уже

по-другому, ответила, что занята, и завтра тоже, а вот в пятницу – да, свободна, с восьми часов, как центр закрывается.

– Так я приду, – сказал Андрей, и Аня подумала, что нихрена не придет, разве что друзьям расскажет, как кадрил продавщицу.

Но надо же – пришел.

Аня вспоминает их первое свидание и улыбается. Они пошли в кино, и Аня была уверена, что Андрей сразу полезет целоваться, но тот неподвижно отсидел полтора часа, только где-то в середине взял за руку. Она угнездила свою ладонь поудобней и проскучала до конца фильма. Это потом уже они пошли к ней домой, и там все тоже было мило и даже трогательно.

Ну да, Андрей вообще-то милый. Только какой-то нескладный и неловкий.

Недели две назад, просматривая у мамы старый альбом со школьными фотографиями, Аня вдруг поняла, кого он ей напоминает.

В третьем классе на Новый год мама и бабушка сшили Ане костюм Русалочки: покрасили марлю зеленкой – получился парик, бумажные ракушки и морские звезды булавками прикрепили к длинному голубому платью. Хвост придумать не смогли, и поэтому Аня была Русалочкой, у которой отросли ноги. Андерсеновская героиня, конечно, должна была молчать весь вечер, но Аня всем объявила: она – Русалочка из другой сказки, там ей можно говорить, и поэтому все кончится хорошо.

Другие девочки нарядились снежинками или зверюшками, мальчики – летчиками, пиратами или мушкетерами. С визгом и хохотом они носились вокруг елки. Одинокая и гордая, Аня, которую в школе все еще называли Элей, стояла в стороне в своем необычном наряде – конечно же, самом красивом. Минут через десять гордиться ей надоело, в длинном платье бегать было неудобно, она задумалась, как быть, – и тут к ней подошел единственный мальчик, чей костюм был почти так же хорош, как ее.

На нем был круглый мотоциклетный шлем и доспехи из картона. В руках он держал самый настоящий металлический трезубец.

– Ты кто? – спросила Аня.

– Я Олег, – ответил мальчик из-под шлема, – из третьего «Б». А ты – Эля, мы с тобой вместе в детский сад ходили, помнишь?

– Помню, помню, – нетерпеливо сказала Аня. – Я спрашиваю, чей у тебя костюм?

– Я Водолаз, – ответил Олег.

– Здоровско, – улыбнулась Аня, – а я Русалочка. Только у меня нет хвоста, а то мы могли бы вместе поплавать.

– А я водолаз, который вылез на берег, – сказал Олег и снял шлем. – Все равно в нем ничего не видно без очков.

Из глубин водолазных картонных доспехов он достал очки и нацепил на нос.

– Красивый у тебя костюм, – сказал он.

Сейчас Аня уже не помнит, чем они были заняты на карнавале, – наверное, разговаривали, водили хоровод или играли во что-нибудь. В конце праздника Олег получил приз за лучший костюм, Ане досталось второе место – она ничуть не огорчилась, тем более что за первое место давали книжку с картинками, которую она уже читала, а за второе – набор цветных карандашей.

Вечером мама сказала:

– Не понимаю, почему они дали первое место этому космонавту.

– Он Водолаз, – сказала Аня, – я его знаю. Это Олег из моего детского сада, мы с ним друзья.

– Ну конечно, водолаз, – усмехнулась мама, – он же очкарик. Знаешь стишок? У кого четыре глаза, тот похож на водолаза.

Аня даже засмеялась, но ей стало как-то неприятно. Стишок она, правда, запомнила и даже прочитала Олегу после каникул. Он обижался и делал это так смешно, что Аня еще несколько раз назвала его водолазом. Он в ответ обозвал ее русалкой без хвоста, и теперь уже обиделась Аня. К концу января от воспоминаний о карнавале ничего не осталось. Некоторое время они еще здоровались на переменах, но когда в мае Олег сказал, что переходит в другую школу, Аня даже не попросила его телефон и не предложила дружить дальше.

Интересно, думает Аня, что с ним потом стало? Некоторые очкарики неплохо устраиваются в жизни: вот Марк Борисович все зовет пить кофе, все намекает, что хотел бы познакомиться поближе. Зинка уже говорит, что если так упираться, то и под сокращение можно попасть.

Вовсе я не упираюсь, думает Аня, просто неохота кофе с ним пить. Сказал бы сразу: останься после работы, зайди в подсобку, есть дело на полчаса. А то – кофе выпить, музыку послушать, познакомиться поближе. Тьфу.

Раньше проще было: эй, узкоглазка, ты куда? Ну-ка задержись. Держи стакан, ща мы тебе тоже нальем.

Простые ребята, без закидонов, не то что нынче.

Вот и делай после этого карьеру.

12. Слава богу, молодость прошла

А еще мы заплывали внутрь айсберга. Там такие ходы, как пещеры. Потому что лед разный и вымывается по-разному, по-разному, то есть, тает. И мы в этих пещерах плавали. Помнишь, в «Звездных войнах» Хан Соло залетает внутрь астероида – вот чувствуешь себя точно так же. Не залетает? Его глотает рыба? Не рыба, а червь, как в «Дюне»? Значит, я напутал. Ах да, рыба глотала Иону, и совсем в другом фильме. Рыбы? Да, рыбы в Антарктиде тоже есть. Но некрасивые. Не как в Красном море. И проглотить не могут. Зато, зато – вот, точно, я как раз хотел рассказать, зато в Антарктиде есть тюлени-убийцы! Нет, нет, не как тигры-людоеды, не потому, что их ранили и они мстят людям. Ну просто – хищные тюлени. Очень опасные. Их называют тюлени-убийцы. И я одного такого встретил... то есть я плыл, и он плыл, и мы встретились. Глаза в глаза. Нет, не обосрался. Человек, который три раза в жизни смотрел в дуло направленного на него пистолета, от тюленя-убийцы не обосрется. Но реально – сильное ощущение. Знаешь, говорят, в такие моменты вся жизнь проходит перед глазами. Вот я и увидел целую жизнь буквально в одно мгновение: вечный холод, снег, лед, рыба сырая, самки какие-то отвратительные... да, конечно, это жизнь тюленя, не моя же. Я потом очень смеялся: представь только, что в это время тюлень увидел! Узнал, наверное, много нового о русском бизнесе. Во всяком случае, уплыл очень быстро. Я думаю, в ужасе.

Никита хорошо понимает этого тюленя. Костя – Никитин однокурсник, ему можно дать лет тридцать, если не обращать внимания на абсолютно белую, словно обесцвеченную голову.

Неправда, говорит Костя, что можно поседеть за одну ночь. Вот года за три – легко.

Особенно если эти три года пришлось на конец двадцатого века в России, а в двадцать первый век ты вынырнул с загородным домом в закрытом поселке, шофером, охранником, прислугой, двумя нянями для трех детей и пятикомнатной квартирой на Остоженке. И это не считая небольшого ресторана и скромного офиса при нем. В офисе – страшный бардак, длинноногие секретарши и люди, говорящие по-китайски. Чем все они занимались, Никита понятия не имел. Не бойся, старик, говорил ему Костя, главное – не оружием и не наркотиками. И то слава богу, конечно.

И вот полгода назад Костя пьяный заявился к Никите в офис и потребовал водки. Это было из ряда вон выходящее событие – последние десять лет Костя воспитывал в себе вкус к хорошим винам, и Никита совсем забыл, как они когда-то квасили в общаге. Но в тот день Костя был на каких-то *очень, блядь, сложных переговорах*, сложность которых как раз и заключалась в том, что надо было все время пить. На втором часу Костя вспомнил, что когда-то любил водку, еще через два часа привел переговоры к блистательному финалу и захотел продолжить в более непосредственной и дружеской обстановке. А ведь офис Никиты совсем близко! *Михаил Валерьянович, голубчик, ну вы должны помнить... мы туда ездили в прошлом месяце... Никита, мой самый лучший друг... ну, который рыбок разводит*, и вот уже два часа Никита пытается догнать Костю, а Костя рассказывает про подводный дайвинг и, похоже, трезвеет с каждой рюмкой.

...Я тут разбирал архив, хотел, чтоб его оцифровали. Нашел наши фотки, институтские. Мы были та-а-акие худые, ты не поверишь! Кожа да кости, ну, летом в Серебряном Бору, помнишь, мы еще сняли двух телок, а потом не знали, куда их девать? Я свою все пытался в кусты утащить, а ты... а ты свою трахнул или нет, ты не помнишь? Что, совсем не помнишь? Ну, такая, с толстой жопой и усиками над губой, армянка, наверное, или еврейка. Буфера тоже ничего были. Сейчас, небось, стала сама себя шире, детей нарожала... да, тебе всегда нравились круглозадые, я помню. Еще? Вот эта, с которой ты на картошке крутил, гондон у меня пытался одолжить, а я не дал, потому что был последний. Слава богу, она не залетела, а то бы мне стыдно было. Пришлось бы тебе жениться на деревенской, ха-ха, а я свой гондон так и не

использовал. Люська, сука, мне тогда так и не дала. А ты их, кстати, никогда не пробовал, ну, учитывать, там, считать, записывать, нет? Я тоже нет, а зря. Вот сейчас всех уже не вспомнишь – особенно тех, что за последние годы. А по молодости каждая была на учете. Я на скучных лекциях всегда вспоминал, сколько и когда я трахнул. Очень бодрило. Ой, а помнишь лаборантку из практикума на четвертом курсе? Огонь была девка, да?

Лаборантку звали Нина. Никита никогда о ней не вспоминал, но внезапно – увидел как сейчас. Такая рыжая, веснушчатая, полноватая и, по их меркам, старая. То есть было ей лет двадцать пять, а они на четвертом, то есть двадцать – двадцать один. Нина как-то пришла на субботнюю дискотеку в общагу – и показала класс! Она задирала юбку, крутилась волчком, изображала модную певицу Мадонну, сама вытаскивала приглянувшихся парней танцевать – это был какой-то ураган. Наверняка она отправилась к кому-нибудь в комнату той ночью – но это было неважно, потом весь год ребята с их курса ходили за ней следом, пытались приглашать на свидания или тискать в углу лаборатории. Никита помнил свое ощущение: взрослая, крутая женщина – а сейчас он старше почти на пятнадцать лет и понимает, что крутости в ней особой не было: только одиночество, надежда на счастье, зов плоти.

...Боже мой, каких страшных теток мы могли тогда драть, ты помнишь? Я думаю, если бы нам дал нильский крокодил... нет, даже тюлень-убийца, точно... мы бы и их того-с, оприходовали. Нам ведь все девушки тогда казались красивыми, ты помнишь, Никита, а? Вот эта, из шестой группы, с прыщами на пол-лица – ведь страшная была, правда? А как Валерка пустил слух, что она *легко дает*, так все ломанули к ней прямо. Она и понять не могла, с чего такая популярность. Валерка, сука, разыграть нас решил. Мне она, правда, все равно дала. И тебе тоже? Ух ты, я и не знал, что мы с тобой, так сказать, побратимы.

Память избирательна, точно. Прыщей – не могу вспомнить. Грудь у нее были круглые, с коричневыми сосками. Она их смешно прикрывала руками, когда разделась. И один сосок торчал между пальцев, как будто выглядывал. Почему-то я запомнил, какие на ней были трусы, – такие бежевые, синтетические, очень совковые... впрочем, тогда мы не знали слова «совковый», оно появилось позже, когда Союз стал Совком, как выяснилось, – ненадолго. Звали ее Женя, тогда мне казалось, что она *страстная в постели*, а теперь, если вспомнить, – похоже, всего лишь старательная. Удивленная свалившейся на нее популярностью, совершенно безотказная от изумления. Потом она забеременела и быстро вышла замуж. Помню, я впервые был на свадьбе девушки, с которой спал, и думал, что, не будь у меня презера, это я бы сейчас стоял в душном костюме и слушал всякие слова про ячейку общества. Помню, я напился на этой свадьбе, клеился к сестре жениха, она мне звонила еще потом, но я сдавал сессию и упустил момент: когда перезвонил, она говорить явно не хотела. Я долго еще переживал, что кто-то раньше меня подсуетился. В самом деле, Костя прав, так оно и было, казалось: любая женщина – откровение. Что-то новое, ни с чем не сравнимое. Они все в постели были разные, да. По-разному стонали, двигались, по-разному пахли, были разные на вкус, ну те, кто давал себя лизать... многие еще стеснялись, нынче с этим, похоже, проще. А ведь все было в первый раз когда-то: просто секс, и чтобы там поцеловала, и чтобы там дала поцеловать, а как я хотел, чтобы мне сделали минет, – сам не верю, мне ведь не особо и нравится теперь.

...Зря, зря ты не летаешь с нами. Во-первых, хорошая компания, ну, полезные тебе могут быть люди, да вообще классные ребята, без понтов, демократичные, со мной на равных. Нет, нет, с тобой тоже на равных будут, для них – что ты, что я, без разницы. Меньше десяти миллионов – значит, ну, бедные люди. Ладно, шучу, там всякие есть, прикалываюсь просто. Да, значит, компания. Ну и места клевые. Мадагаскар, Чили, Антарктида – ну когда ты еще побываешь в Антарктиде? Что значит – не любишь дайвинг? Ты же говорил, что нырял однажды? А, в Турции, там смотреть нечего, говно, а не дайвинг, ты бы хоть в Египет сгонял.

Нырнуть меня уговорила Машка. Мы были вместе уже лет шесть, каждое лето ездили на море. Она уплывала за горизонт, а я старался не удаляться от берега. Несколько метров –

и назад. Стоило мне почувствовать под собой глубину, я начинал паниковать. Не знаю, что меня так пугало. Помню, мы сидели вечером в каком-то дрянном турецком ресторане на пыльной улице, которая начиналась за воротами отеля. Мы пытались разделать лобстера – *где мы еще найдем такого дешевого лобстера?* – и Машка сказала: Тебе надо нырнуть, и у тебя все пройдет. Ты просто поймешь, что под водой не страшно, – и все, будешь плавать. Надо идти навстречу своему страху, чтобы его победить. Не знаю, откуда она это взяла. Не знаю, почему я согласился. Может, стало стыдно – жена во всю рассекает, а я боюсь от берега отплыть. И на следующий день я нырнул. То есть инструктор взял меня за грудки и буквально утащил за собой в воду – потому что я брыкался и сопротивлялся до последнего. Не могу сказать, что мне понравилось. Что было под водой, я вообще не запомнил. Но еще через день я прыгнул прямо с яхты в голубую прозрачную воду Средиземного моря – и поплыл. Машка стояла на борту и махала мне рукой, а я чувствовал – мой страх ушел. Когда перед отъездом я кинул в море монетку, так и сказал себе: *Чтобы вернуться туда, где ушел мой страх.* Ага, последний детский страх. С тех пор я, наверное, ничего не боюсь.

...А знаешь, я, кажется, трезвею. Пойдем пройдемся, водки еще купим или девок снимем. Не поверишь, я на улице девок не снимал хрен знает сколько. Думал: вот, будет крутая тачка, буду эдак вальяжно подкатывать и говорить: *Давайте покатаемся, девушка!* – а как появилась крутая тачка, так уже и нахрен надо на улице снимать, и без того желающих жопой жуй. Ну, не в буквальном смысле, я ж не пидор какой, ха-ха!

Мы вышли на улицу. Было еще светло, асфальт блестел после дождя, водитель дремал в Костиной «Ауди А8», одинокое дерево у подъезда шумело листьями на ветру. Мне стало грустно – может, от водки, а может, от воспоминаний. Нина, Женя, Костина Люська, девица из колхоза «Московский», позабытые телки из Серебряного Бора, девушки, которые динамили меня или давали мне, – что с ними случилось? Всем нам под сорок, у них, наверное, дети, мужья, они, может, иногда пропустят рюмку-другую вместе с подружкой и тоже вспоминают: а помнишь, Серебряный Бор, два парня еще к нам клеились? Один такой высокий, нескладный, все тебя за грудь хватал, а мой норовил приобнять и что-то лирическое нес, дурачок. Чего я ему не дала, не знаешь? Было бы сейчас что вспомнить, – и они еще немножко выпивают, хихикают, на минуту превращаются в тех глупых девчушек, которых можно было клеить на пляже, с которыми было весело, беззаботно и смешно, глупо и бессмысленно – и все равно каждый раз по-новому, каждый раз – с замиранием сердца. Почему не дала мне тогда, не помнит? А почему мне это было так важно, кто вспомнит?

В магазине Костя обстоятельно расспрашивал продавщицу, какая водка у них лучшая. Даже в этом винном отделе, пропахшем пивом и блевом, Костя вел себя так, будто делал заказ *à la carte* где-нибудь в «Ностальжи». Продавщица, похоже, таяла – протянув бутылку «Столичной», сказала: Вообще-то, мальчики, я через полчаса освобождаюсь. Костя улыбнулся во весь рот и сказал: Ясно. У нас есть полчаса определиться, хватит ли с нас одной бутылки.

...Тебе понравилась? По-моему, как раз в твоём вкусе. Жопа у нее какая, а, видел? Я специально попросил ее бутылку с верхней полки достать, тебя хотел порадовать. Нет, не в моем вкусе, точно. Я люблю помоложе и постройнее, ты же знаешь, я же тебя знакомил с Наташкой, и с Катькой тоже. Какой Катькой? Ну, которой я квартиру рядом с офисом снимал, чтобы в обед ее трахать. Я, кстати, тебе говорил? Она два месяца назад в Париж свалила, сниматься в рекламе. Да, я свободный сейчас, кроме Ксении – вообще никого. Да ладно, так даже лучше, лето же сейчас, студентки по улицам бегают, ща подсняем кого-нибудь. Ты, главное, заметил: вопрос, где трахаться, совершенно снят с повестки дня? Сажаем в машину, едем в центр, находим гостиницу, максимум двести баксов за номер – и вперед! У тебя, кстати, гондоны, есть, а? Пойдем, в ларьке купим, потом неудобно будет при девках.

Вдруг стало весело, показалось – восемнадцати лет как не бывало! Молодые, пьяные, водку уже купили, сейчас презервов найдем – и вперед! Не догоню, так согреюсь, да, точно.

Будет что вспомнить завтра. И через восемнадцать лет – тоже будет. Бог мой, что со мной будет через восемнадцать лет, пьяно думал я и даже пытался что-то втолковать Косте. Восемнадцать! Восемнадцать лет назад мне как раз было восемнадцать – или около того. Значит, надо загадывать, что будет со мной через тридцать шесть. Семьдесят два года, с ума сойти. Но шансы есть: оба деда у меня дожили до восьмидесяти, даст бог, и я доживу. *Восемнадцать лет*, кричал я, восемнадцать лет!

Восемнадцать лет назад все девушки были молоды, все девушки были желанны – и мне они не давали, нет, не давали. Восемнадцать лет назад я думал, все у меня плохо. Все плохо, думал я, в мои восемнадцать лет. А было отлично, все было отлично, Костя, помнишь, все было отлично, нам было восемнадцать, и впереди у нас было еще восемнадцать, и за эти годы случилось гораздо, гораздо больше, чем мы даже могли предположить! И девушек было столько, что мы уже сбились со счета, если его когда-то и вели. Мы не можем вспомнить всех, с кем спали и с кем целовались. Мы путаем имена и лица, кто брюнетка, кто блондинка, наверное, это называется склероз – или еще нет? Ведь главное мы не забыли: всё было отлично, нам было всего восемнадцать. Все было в первый раз, даже каждая поза, ну, кроме разве что миссионерской, была когда-то впервые. И миссионерская тоже была когда-то впервые, конечно, Костя, ты прав! Знаешь, сейчас я их вспомнил, всех вспомнил, дай бутылку, я глотну – и вспомню всё-всё, как было весело и как было грустно, какие у них были пальчики, лифчики, трусики, кожа в пупырышках, запах советских духов, помнишь, а? Они все были милые, ведь правда? Не было ни одной лишней, и те, что нам дали, – давай их найдем и скажем спасибо. А те, что не дали, – ну их нахрен, зачем они нам, такие скучные? Что бы мы делали с ними, если бы они дали нам, те, которые нам не дали, верно?

Я хохотал и хватал Костю за рукав, а он волок меня за собой, словно у него заготовлен маршрут и надо не сбиться с пути. И – оп! – мы уже сидим за столиком уличного кафе, бутылку – под стол, напротив – две девушки, *нет, в самом деле восемнадцать? Вот прекрасно, мы сегодня весь день об этом говорим!*

Если честно, совсем не помню, что там нес Костя. Если совсем честно, не помню как выглядели эти девушки. Тех, из своих восемнадцати, я как вспомнил – так до сих пор не забыл. А этих двух – кажется, одна была крашенная блондинка, все, больше ничего не помню. Иногда они смеялись, Костя тоже смеялся, а я был, как в старые годы, на подхвате.

По-моему, они в конце концов согласились ехать с нами. *Куда-нибудь в центр*, пообещал Костя. Я сейчас вызову машину. Они захихикали, одна, помнится, сказала: а машина хорошая? А то я не поеду! – обе засмеялись, Костя достал мобильный, сказал: Михал Валерьяныч, вы уж найдите нас, мы тут в кафе, недалеко, – и девушки снова захихикали, вот этот смех я хорошо помню. Мы налили в кофейные чашки водки из-под стола, чокнулись, выпили за «восемнадцать, потому что это прекрасный возраст для любви» – они опять засмеялись, я помню этот смех и помню, как он оборвался, когда Костин шофер подъехал почти к самому столику и картинно распахнул дверь: Константин Владимирович, куда поедет?

Девушки сразу перестали смеяться, от нас отодвинулись, друг к другу прижались. Эта секунда тишины, которая оборвала их смех, словно ударила меня. Я мгновенно протрезвел. Через стол мы смотрели друг на друга, и я понял: мы для них – те самые тюлени-убийцы, и в наших глазах они видят всю нашу жизнь. Веселые пьянки и похмелья, измены и любовь, первые деньги, первые седые волосы, первый утренний нестойак, мои бесконечные работы, Костины бесконечные переговоры, всю выпитую водку, всех умерших друзей, всех убитых друзей, наших жен, Костиных детей, его любовниц-моделей, партнеров-бандитов, друзей-дайверов, *от десяти миллионов и выше*, Мадагаскар, Чили, Антарктиду, тюленя-убийцу – все дважды восемнадцать лет, семьдесят два на двоих.

Я тоже посмотрел на Костю. Крупный, начинающий полнеть, седой серьезный мужик. Он улыбался, но улыбка уже не обманывала: ему далеко не восемнадцать, и он прожил достаточно,

чтобы потерять беспечность и молодой задор, – сколько бы ни пытался убедить в обратном самого себя и всех нас. *Ну что, поехали?* – спросил он, как мне показалось, с угрозой.

– Мы, наверное, пойдем, – сказала блондинка, а вторая судорожно кивнула, и – я сейчас вспомнил! – у нее стали круглые глаза, не то от изумления, не то от страха.

– Да куда вы пойдете? – сказал Костя. – Поедем с нами? Вы что, боитесь? Мы совсем не страшные.

Он протянул руку, и девушки как загипнотизированные двинулись к машине, но тут я сказал: Да ладно, ну их, пусть идут, если не хотят. Нафиг они нам сдались, если честно? – и Костя снова засмеялся – да, в самом деле – нафиг сдались? – и девушки тоже улыбнулись и попятились, заискивающе глядя на меня, а Костя поднял с земли бутылку, поставил на стол – это вместо чаевых! – и плюхнулся рядом с водителем.

Понимаешь, Костя, говорил я, хватаясь за спинку переднего сиденья, это хорошо, что молодость прошла. Она была клевой, да, но глупой и несчастной. Нам хотелось всякой ерунды – и ее-то у нас и не было. Все девушки были желанными. Казалось, любая стоит усилий. Любая может стать моей, если найти правильный подход. Ради любой стоит расстараться, помнишь, мы так думали. А теперь, ну да, в самом деле, теперь – любую можно, выпил водки, подъехал на машине, сказал «залезайте!» – и все. Но ведь правда, нам этого больше не нужно, совсем не интересно, ни тебе, ни мне. Я люблю свою Машку, ты – свою Ксюшку, мы всё уже нашли, что искали. Слава богу – молодость прошла. Вспомни: очень было нервное время.

Я говорил: Не представляю, что делать с молодыми. Они же ничего не понимают. Даже трахаться, я думаю, скучно – теперь-то мы знаем, что секс без любви – скучен. А мы ведь отлюбили свое, мы остановились, и это, конечно, грустно, но в самом деле – мне от них ничего не надо. Мы ведь почему их отпустили? Не потому, что они испугались, – мы просто поняли: мы протрезвеем, и придется что-то делать с ними дальше, отвечать на вопросы, понтоваться или, наоборот, отмалчиваться, слушать их признания, брать бумажки с телефонами, врать, что позвоним, и врать, что нам с ними было хорошо. Восемнадцать лет назад мы бы считали, что игра стоит свеч. Потрогать еще одну грудь, поцеловать еще одни губы, раздвинуть ноги, услышать стоны, содрогнуться вместе или раздельно – возможности, которые нельзя упускать. Это всегда была хоть немножко – но любовь. И мы были правы, любовь нельзя упускать. А сегодня нам от них ничего не надо – всё, мы больше не можем любить за грудь, за ноги, за поцелуи. Мы уже отлюбили свое, любви в нас осталось – на доньшке, дай бог, чтобы хватило на жену, куда там девушкам из кафе.

Я все это говорил, это или что-то похожее, и мне казалось, я прощаюсь со своей молодостью навсегда. Я тряс Костю за плечо и повторял *ни от кого нам ничего не надо, все у нас есть*, – а потом понял: Костя спит, чуть посапывая во сне. Я вспомнил: так же он засыпал где-нибудь в кухне на шумных студенческих пьянках.

За окном пошел дождь. Я откинулся на кожаные подушки заднего сиденья и сказал уже самому себе: *Слава богу, молодость прошла. Можно успокоиться, можно не думать о сексе, не предаваться эротическим мечтам, не представлять себе соски, груди, бедра, не считать дни до следующего перепихона. Можно жить спокойно.*

Я в это верил, честное слово.

А через полгода встретил Дашу.

13. Бизнес – это выстрел

История Аниной семьи проста. Бабушка Джамиля родилась в 1924 году, от прадедушки Мусы и прабабушки Гульнары. В 1954 году Джамиля родила Анину мать, которой дала русское имя Татьяна и отчество Олеговна. Вот и все, что осталось от второго Аниного деда, – и еще семейная легенда, которую рассказывала бабушка Джамиля, я тоже ее расскажу в свое время.

Вторую дочку Джамиля родила через восемь лет. В честь матери назвала ее Гульнарой, в качестве отчества хотела поставить прочерк, но потом написала «Юрьевна». Когда спрашивали – шутила, что в честь Юрия Гагарина. Действительно: Гуля родилась где-то через девять месяцев после первого полета в космос.

В 1971 году Анина мать вышла замуж за Сашу Мельникова и развелась с ним в 1975-м. Аня-Эльвира родилась в 1972-м, на десять лет раньше своей двоюродной сестры Риммы.

Кто отец Риммы – никто не знает. По установившейся, так сказать, семейной традиции.

Римма живет сама по себе, на семейные праздники почти не приходит. Я ее даже не видел ни разу, мне трудно представить, как она живет. Тем более она работает в офисе, а я в офисах отродясь не бывал.

Мне кажется, Никита справился бы с этой задачей лучше меня. У него, небось, у самого такие Риммы работают. Так что пусть он и вообразит себе Римму, двоюродную сестру своей сводной сестры...

Римма просыпается легко. Она не любит опаздывать. Ей кажется, Сазонов так и ждет промашки, чтобы ткнуть носом, поставить на место.

Не дождется.

Высокие каблуки, юбка до колена, светлый жакет, выбеленные волосы. Волевая складка губ. Крошечные золотые сережки в ушах.

Проходит по офису, отпирает дверь своим ключом и садится за свой стол в приемной. Она персональный ассистент Владимира Сазонова.

Job description:

- контроль исполнения поручений руководителя,
- ведение документооборота, подготовка протоколов совещаний,
- обеспечение документальной и информационной поддержки деятельности руководителя,
- организация встреч, презентаций,
- организация и документальное сопровождение деловых поездок (заказ билетов, бронирование гостиниц, подготовка документов для получения виз).

Интим не предлагать.

Когда устроилась на работу, позвонила маме впервые за два месяца. Мама сказала: *Он будет тащить тебя в постель*. Римма ответила: *Пусть только попробует. У меня все под контролем*.

Сазонов не пробовал.

Грузный сорокапятилетний мужик. Вечно мятые дорогие костюмы, хорошая обувь, BMW с шофером. В нем было что-то от бюрократа из старых фильмов – и от бывшего спортсмена, которого жизнь заставила подыскать другое занятие.

Римме он даже нравился.

Он проходил в свой кабинет, с полуулыбкой кивал, просматривал документы, принимал клиентов и заказчиков, вел себя как хозяин – но все же ощутимо трепетал, когда звонили сверху.

Что поделать – большая корпорация. Римма такую и выбирала.

Медстраховка, соцпакет, белая зарплата, трудовая книжка.

А куда важнее – ощущение силы, исходившее от массивного здания в самом центре Москвы.

Ощущение своей причастности этой силе.

Высокие каблуки, юбка до колена, светлый жакет, выбеленные волосы.

Утром Римма подолгу смотрела в зеркало. Представляла себя эдакой белокурой бестией, скрытой садисткой, эльзой-волчицей-СС. Вживалась в образ.

Весь день – не расслабляться. Не выходить из имиджа. Не терять контроль.

Контроль – это все.

Ее бабушка была снайпером. Бизнес – это выстрел, сказал однажды в Real McCoy случайный знакомый.

Вечером Римма возвращается в свою съемную квартиру, вешает в шкаф юбку и жакет, надевает джинсы и майку, включает DVD, садится на диван.

Можно расслабиться, можно почувствовать себя маленькой девочкой. По крайней мере – попробовать.

Маленькие девочки должны смотреть мультики. Римма ставит диск с каким-то новым аниме, заливает чаем смесь «Джаз» (сухофрукты плюс орехи), смотрит, как маленькие японские школьницы в гольфиках и коротких юбках – почти такие же, как она, – стреляют с двух рук, взлетают под облака, мухами ползут по стенам, проваливаются под воду – во владения водяных с блюдцами на головах, в объятия многоруких подводных монстров... щупальца, как у осьминогов, усы, как у сома.

И все они смотрят на Римму глазами Сазонова, смотрят знакомым похотливым взглядом, тем самым, которым я отмечаю каждое Дашино движение: раздевающим взглядом сорокалетних мужчин, охочих до юной плоти.

14. 1984 год. Мальчик без шпаги

Дядя Саша, а жалко, что дуэлей сейчас нет, правда? Вот живет на свете какой-нибудь скот, и ничего с ним не сделаешь.

– На дуэлях иногда и скоты побеждали, – возразил дядя Саша.

– Не верю.

– А Дантес?

Саша пристыженно замолчал.

– На самом деле, Сашок, ты прав, – сказал дядя Саша, – жалко, что дуэлей нет.

У дяди Саши – густые усы, как у Михаила Боярского в телефильме про мушкетеров. Он задорно смеется, чайник кипит на плите. Саша-маленький любит бывать у дяди. Ему нравится, что их зовут одинаково. Нравится у дяди дома, где совсем нет книг, зато есть диковинные камни, сушеные морские звезды, большая карта Союза, где нарисованы яркие звездочки всюду, где побывал дядя Саша.

Маленький Саша вместе с мамой жил в однокомнатной квартире в новостройке на юго-западе Москвы. За окнами расстился лес, за ним овраг. Осенью, гуляя с бабушкой, Саша любил воображать, будто овраг – это прерии и там, в холмах, прячутся бледнолицые охотники, а он – отважный Ульзана, вождь апачей. Фильм про апачей Саша посмотрел летом на даче в Кратово. Его показывали три раза, и каждый раз Саша бегал смотреть. Там было много классного кино: не только про индейцев, но и про мушкетеров, про графа Монте-Кристо, про месть и закон, про мстителя на черном мотоцикле, про парижские тайны и про белое солнце пустыни. До сих пор Саша помнил соленый вкус слез, когда жена Верецагина бежала вдоль кромки моря под песню, которую он когда-то пел, вкус слез – и вкус билета за десять копеек, к концу сеанса он превращался во рту в папье-маше. Саша воображал, что это жвачка, о которой так много рассказывали ребята в классе и которую он ни разу не пробовал.

Дядя Саша жил на другом конце города, на «Коломенской», но пару раз в месяц по выходным мама отпускала Сашу, и он долго ехал на метро: до «Проспекта Маркса», потом переход на «Площадь Свердлова», причем не в центре зала, где указано, а по эскалатору, где выход из третьего вагона, а потом уже близко и, главное, не проедешь, потому что прямо перед «Коломенской» поезд выскакивал из-под земли и ехал над Москвой-рекой, почти как на станции «Ленинские горы».

На «Ленинских горах» – Дворец пионеров. Говорят, там есть кружок фехтования, где учат драться на шпагах, как д'Артаньян. Может, там есть такой же учитель фехтования, как в фильме «Достояние республики»: смелый, отважный, честный. Подросту, думает Саша, обязательно запишусь.

У дяди Саши весело, спокойно и хорошо. У него интересная жизнь, он не ходит каждый день на работу, а несколько раз в год ездит в далекие экспедиции.

– Дядя Саша, а расскажи мне еще что-нибудь про путешествия.

– Про путешествия? Я про Дальний Восток рассказывал? Про гейзеры?

– Это где яйцо прямо в воде можно сварить? Ага, рассказывал.

– А про то, как мы едва не замерзли в буран?

– Ага. А потом вас нашли наутро полуживых, но довольных.

– Точно. – Дядя Саша помолчал. – Ну вот, выходит, я почти все тебе рассказал уже.

– А я поеду туда, когда вырасту?

– Конечно, поедешь. – И в голосе дяди Саши столько уверенности, что маленькому Саше кажется: для взрослого человека нет ничего проще, чем махнуть на Дальний Восток в Долину гейзеров.

Много лет назад, в другой квартире, в другом городе с тем же названием, в стране, которой еще несколько лет предстояло быть Российской империей, другой мужчина говорил сыну те же слова. *Конечно, поедешь.* Карта лежала перед ними на столе.

Индия. Кашмир. Гималаи.

Тибет. Шамбала. Атлантида.

Запомни, Миша, ты в Индию – будешь.

Мальчики на всю жизнь запоминают такие обещания.

– Давай лучше я расскажу тебе про темное озеро, – говорит дядя Саша.

– Про озеро?

– Да. Это мне мама рассказывала, бабушка твоя. О том, что в глухих лесах есть темное озеро. Впадает туда речка, и на ней стоит одинокая мельница. День и ночь скрипит мельничное колесо, а в темной воде гниют коряги, плавают рыбы и живет водяной.

– Водяной? – Саша разочарованно глядит исподлобья. – Так это сказка? Я ведь уже не маленький, я в сказки не верю.

– Какая тебе сказка? Я же говорю: настоящий водяной. В мушкетеров ты веришь, а в водяного – не хочешь?

– Дядь Саш, – обиделся мальчик, – водяной – это для маленьких. Это как в мультиках. *Я Водяной, я Водяной, никто не водится со мной.*

– Это другой водяной, – серьезно сказал дядя Саша, – с ним нельзя не водиться. Плотину подмоет, мельницу снесет. Знаешь пословицу: «Водой мельница стоит, от воды и погибнет»? Такому водяному подарки делать надо, задабривать его. Откупаться. Помнишь, когда ты был маленький, я тебе песенку пел?

– Нет, – покачал головой мальчик.

Дядя Саша нагнулся к самому его уху и шепотом запел:

– Водяной придет – петуха унесет,
Второй раз придет – и кота возьмет,
Третий раз придет – тебя заберет!

На последних словах он крепко схватил Сашу. Мальчик, отбиваясь, засмеялся.

– В детстве ты этой песни боялся немножко, твоя мама на меня ругалась.

– По-моему, совсем не страшная песня.

– Это ты просто вырос, – засмеялся дядя Саша. – А водяной – он страшный. С ним надо ухо востро. И поэтому наш мельник – он колдун немножко.

– Дядь Саш! Колдунов не бывает.

– Много ты понимаешь! – Дядя Саша закурил беломорину. – Водяных я не видел, а вот колдунов встречал. В Сибири. Они шаманами называются.

– Ух ты! Как в «Земле Санникова»? Как у индейцев?

И маленький Саша вспомнил: шаман в страшной маске танцует, посреди озера булькают пузыри, под красивую музыку кружится плот с убитым оленем, а потом исчезает под водой. Это духи воды приняли жертву. Саша смотрел «Землю Санникова» семь раз и в этом месте всегда замирал от сладкого ужаса.

Дядя Саша говорил, что был в Долине гейзеров, где снимали «Землю Санникова». Может, там он и встретил шамана?

Когда я вырасту, думает маленький Саша, я тоже буду путешествовать. Я буду плавать по морям, доплыву до Америки и увижу настоящих индейцев. А потом я им помогу, и мы вышвырнем всех белых американцев прочь. И я буду как белый вождь у Майн Рида. И я тоже познакомлюсь с настоящими шаманами. У них на головах звериные маски, рога, они танцуют под музыку вокруг горячих озер. И я останусь жить с ними, а в Москве жить не буду, только маму с собой заберу, бабушку и дядю Сашу.

– Я не видел темного озера, – улыбнулся дядя Саша, – но мама моя видела. Маленькой девочкой. Там жил деревенский колдун. Говорили, он был ее отцом.

– А они тоже не жили вместе? Бабушкины мама с папой?

– Ну, вроде как, – смутился дядя Саша, а потом взъерошил мальчишке лохматую нестриженую голову и предложил: – Чай с сушками будешь?

– Буду, – сказал Саша-маленький, а потом спросил: – А правда, что мой папа – твой брат?

– Правда, – ответил дядя Саша, и лицо у него стало непонятное. То ли на мальчика сердился за вопрос, то ли на кого-то еще.

– А почему я никогда его не видел?

Дядя Саша помолчал. Голубоватый дым от беломора поднимался к потолку.

– А что мама говорит?

– Ничего не говорит, – сознался мальчик. – А бабушка говорит, что мой папа – плохой человек.

– Понимаешь, Сашок, ты вот вырастешь и поймешь, как все непросто в этой жизни. Так не бывает, чтобы просто плохой человек, хороший...

– А Миледи?

– Что Миледи?

– Она ведь – плохой человек?

Всю жизнь ждешь, пока вырастешь. Вырастешь и пойдешь в школу. Вырастешь и пойдешь во Дворец пионеров. Вырастешь и будешь ложиться поздно. Вырастешь и поймешь.

Все будет. Почти все. Когда Саша вырастет, он поймет. Про плохих и хороших, плохих, хороших и злых, про темную воду, где на дне гнилые коряги, колоды и пни, про пустую квартиру без книг, про голубоватый дым беломора, про то, как не ходить на работу каждый день. Он все поймет – и все забудет, и, приходя в гости к человеку, которого так всю жизнь и звал дядей Сашей, не будет знать, о чем говорить с ним, о чем спросить. Он все забудет и так и не расскажет, как любил его мальчишкой, как ждал этих выходных, поездок на «Коломенскую», карты на стене, чая в чашке с отколотой ручкой. И не будет ни индейцев, ни далеких странствий, ни кружка во Дворце пионеров, ни шпаги в руке – только снег с небес, комья земли на крышке гроба, мама держится за рукав, предвкушение первого глотка, и незнакомый старый человек стоит рядом с Никитой – незнакомый настолько, что не имеет уже смысла спрашивать себя, хороший он или плохой.

– А я вот думаю, дядя Саша, – сказал мальчик, – что лучше бы ты был моим папой, правда? У нас же все равно одна фамилия.

– Ну, некоторым образом я и так твой папа, – неловко засмеялся дядя Саша, – тем более у нас одна фамилия. Можно даже так и считать. Только никому не говори, пусть это будет наш секрет.

И маленькому Саше стало хорошо-хорошо оттого, что у них есть общий секрет, и сидят они сейчас рядом, и дядя Саша держит его за руку, и чайник шумит на кухне, тихий вечер, и луна смеется в окне пятиэтажки.

15. Право на насилие

Да уж, луна смеется. Хохоchet в февральском московском небе, дразнит меня.

Я не знаю, где я. Не знаю, какой сейчас день.

Сколько дней можно продержаться без денег?

Сколько лет можно прожить без денег? Без денег и без славы.

Мореухов протянул десятилетие. Он разменял свою московскую известность на славу настоящего андерграундного художника. Редкие выставки в тропаревском лесу. Кантри-стиль. Рабин, Рухин, Глезер и прочие нонконформисты, сраные шестидесятники. В прекрасном новом постсоветском мире сам Мореухов был за автора, бульдозер и оперотряд: пьяный рвал холсты и пытался заехать по морде поклонникам. Его славу это укрепило, но зрителей распугало: последние пять лет слава существовала сама по себе, ничем не подкрепленная: ни выставок, ни новых работ, ни упоминаний в прессе или, смешно сказать, в интернете.

При такой славе деньги не нужны. Всегда можно перехватить у Димона или у Виталика, на худой конец *скачать* что-нибудь из книг, альбомов или ненужных вещей, случайно оставшихся в квартире.

Кому нечего терять, тот ничего не боится.

Кстати, женщины любят бесстрашных. А если тебя любят женщины, зачем тебе деньги?

Мореухов стоит в полутьме февральских сумерек, издали смотрит на ярко освещенную витрину «Перекрестка», дрожит и еле слышно хихикает. Даже не хихикает, а с присвистом выпускает воздух сквозь сжатые зубы.

Вроде добрался до родного юго-запада, только затем свернул не туда – и вот опять в незнакомых местах, на обочине парковки, подальше от света витрин.

Куда идти – непонятно.

Хорошо бы снять какую-нибудь прошмандовку, думает Мореухов, зависнуть у нее, трахнуть и взять денег на такси. Вызвать машину, сказать адрес, поехать домой.

Мореухову кажется, если он доберется до дома – все будет хорошо. Он сможет остановиться. На этот раз его минует мутная придонная вода, скользкие руки, цепкие клешни.

Где мой дом? – спрашивает себя Мореухов. Где мое прошлое? Любовь мамы и папы, тайна дедовой смерти, загадка семейной судьбы. Надо идти, надо вернуться назад, добраться домой.

Где мой дом, где мой рассудок?

Если я выживу на этот раз, говорит себе Мореухов, я разберусь со всем, я все вспомню, я обо всем узнаю. Я расспрошу маму, встречу с Никитой, поговорю с его – моим? – отцом.

Только бы добраться до дома.

У него нет денег, он не знает, где он, не знает, куда идти.

В свете витрины – черный силуэт. Девушка вытаскивает пакеты из тележки, убирает в багажник. Подойти, улыбнуться, предложить помочь. Ни слова про деньги, просто предложить погулять, напроситься в гости.

Она согласится как пить дать.

Молодая красивая богатая блондинка в короткой дубленке и высоких сапогах пойдет гулять с оборванным алкашом, у которого тремор конечностей и синяк под глазом.

Подарок от ментов, бросивших его подыхать в сугробе.

Разжалобил-таки на свою голову. Был бы уже дома.

Но как я им сказал, а? Они охуели просто.

Умею я все-таки говорить с людьми, знаю, наверное, какой-то секрет.

Впрочем, нет тут никакого секрета. Просто тогда был правильный градус опьянения. Тот самый, когда весь мир ложится под ноги, стелется мокрой февральской наледью, разбрызгивается талой водой из луж, зеленеет травой, шелестит желто-красными листьями.

В такие минуты – все для тебя. Каждая синеватая тень на снегу, каждый солнечный луч хмурым днем, каждая встреча длинноногая красотка.

В такие минуты Бог любит меня мной, говорил Мореухов.

В такие минуты он не понимал, как люди живут в этом городе трезвыми.

Честно говоря, он вообще этого не понимал.

Поначалу опьянение дарило Мореухову необычайную легкость. Редкая девушка могла устоять – но потом накатывала волна *живой воды за тридцать* и смывала все, даже память. Оставались только фрагменты.

И сейчас, глядя на подсвеченный витриной женский силуэт, Мореухов вдруг вспоминает прошлый запой, столь ненадолго отступивший.

Девушку звали автомобильным именем Лада. Она тоже была одета в короткую дубленку и высокие черные сапоги, мечту фут-фетишиста.

Мореухов был равнодушен к женской обуви – хотя, конечно, любил высокий каблук, потому что в нем были *стиль и женственность*.

Он познакомился с ней в кассах кинотеатра «Горизонт», куда зачем-то пытался пробиться на фильм «Константин», поучительную историю мужчины, который курил так много, что едва не угодил в ад раньше срока.

Лада купила два билета на последний ряд. Когда она доставала деньги из маленькой сумочки, Мореухов подумал, что, если такую сумочку правильно *скачать*, можно отвисать, месяц.

В билетах задние сиденья были названы loveseats. Образованный Мореухов подумал не о любви, а о Лавкрафте – нелишняя мысль при посещении фильма «Константин», – но промолчал. Временами он стеснялся своей эрудиции: боялся подавить собеседника.

Пока Киану Ривз сражался с демонами, Мореухов исследовал Ладину ногу между сапогом и подолом юбки. Потом перешел к трусикам танга – очень удобный фасон! – и Лада сначала шептала *не сейчас*, а потом, кажется, кончила, ну да, наверняка кончила, потому что они отправились к ней домой, и там Мореухов разобрался во всех деталях ее анатомии, включая шрам от аппендицита и не особо выдающуюся грудь.

К большой женской груди Мореухов был равнодушен. У меня такой большой член, скромно говорил он, что у девушки грудь может быть и маленькая.

А потом – мразь, сука сраная, даже за волосы не схватишь, пришлось просто засветить по морде.

Трезвым Мореухов никогда не поднял бы руку на женщину.

Впрочем, трезвым он даже вспомнить Ладу не может.

Но сейчас в февральской полутьме, в слабом отблеске витрин Мореухов видит ясно, как в кино: вот он, покачиваясь, стоит посреди комнаты, Лада всхлипывает в углу, правая рука ноет после удара.

– Это все из-за тебя, – говорит он, – сама виновата!

Конечно, он продержался бы еще пару дней на джин-тонике. В такие дни он бывал мил и остроумен, изобретателен и нежен. Его только начинало потряхивать, еще можно было держаться – и тут он обнаружил в Ладиной гостиной потайной бар. Думал, просто секретер, долго искал ключ. Всего-навсего хотел взять денег, еще разок сходить в местную «Копейку» за джин-тоником.

А это оказался бар. Если бы Лада его не запирала, Мореухов и не стал бы ломиться, не открыл бы дверцу кухонным ножом и отверткой, не нашел бы бутылку Red Label.

Ну скажите сами, зачем приличной девушке виски Red Label? Если, конечно, считать Ладу приличной девушкой, ха!

Разумеется, когда она вернулась с работы, бутылка была уже пуста, а Мореухов стоял посреди комнаты, отбивал по полированной крышке стола ритм и читал рэп:

– Там-тарам, я пьян в хлам, все из-за дам, из-за драм, со ста грамм. Эй, не гляди, эй, заходи, муси-пуси, давай – отсоси.

Это было поэтическое произведение, как можно не понять? А Лада заорала с порога: *Какого хуя ты взломал мой секретер?* Иногда Мореухов прямо *ненавидел*, когда девушки ругаются матом, *ненавидел*, когда ему задают дурацкие вопросы, *ненавидел*, когда передергивают.

– Я – не взломал, я – открыл! – ответил он и широко улыбнулся щербатой улыбкой.

И вот тогда Лада ошиблась. Конечно, он не предупреждал, но можно было догадаться: не надо говорить слово *пьянь*.

Тут-то Мореухов ее и ударил, даже дубленку снять не успела, отлетела в угол, ноги растопырила и захныкала.

Сука. Сама виновата. Ни минуты здесь больше не останусь! Открыл Ладину сумочку, достал бумажник, вытянул десятка два мятых бумажек, несколько – в карман, остальные швырнул на пол – пусть заткнется и перестанет орать *не трогай мои деньги!* Вот они, твои драгоценные деньги, подбери, если хочешь.

Хлопнул дверью. Все. Ноги моей больше здесь не будет.

Сука, одно слово.

Художник имеет право на насилие, говорил себе Мореухов, топая под мокрым снегом к «Копейке». Насилие есть суть искусства. Сюрреалисты мечтали взрывать бомбы, какой-то казах десять лет назад зарезал на «Арт-Манеже» барана, а он, Мореухов, мог бы провести акцию «Наказание строптивой». Публично. В выставочном пространстве. Надо только подходящего куратора найти.

Да, когда проходило время «Очаковского» и джин-тоника, очарование Мореухова тускло на глазах – вот и теперь его потряхивает все сильнее, пожалуй, не время кадрить богатых блондинок, не стоит выходить на свет, надо прятаться в тени, пока тебя не заметили, не замели, не выбили остатки зубов, не сломали пальцы, не покалечили ради забавы, ради смеха.

Стоило только подумать – тут же скрип тормозов, яркий свет в глаза. Распахивается дверца, вываливается туша:

– Ты куда, пьянь, смотришь? Чё под колеса лезешь? Давай, вали отсюда! – резкий выпад, толчок в грудь, Мореухов отлетает в сторону, сквозь зубы шипит: *Пидор!*

Зачем он это сказал? Второй удар валит его с ног, мысок ботинка врежется под ребра. Сгруппироваться, прикрыть голову, убрать руки.

Он же художник, ему руки для работы нужны!

– Ты кому это сказал? – И острая боль. – Ты это мне сказал?

Тебе, тебе, думает Мореухов, пидор и есть. Ты и бить-то как следует не умеешь.

Мореухова били много раз. Били менты и гопники, злобные водилы, пьяные братки, охранники в магазинах.

Менты хуже всех. Слуги государства. Люди, продавшие свою совесть за зарплату. Готовые избивать и грабить только для того, чтобы их дети и жены ходили в нарядных платьях, а у самих всегда были деньги на опохмелку.

Мореухов надеялся, что передний зуб ему выбили менты. Гопники были все-таки социально близкими. Тоже, как ни крути, враги системы, а не ее слуги.

Впрочем, кто ее сейчас разберет, систему – где она кончается?

Перед тем как потерять сознание, Мореухов успевает подумать: Кажется, я так и не доберусь до дома... – или что-нибудь еще, отчаянное, безнадежное.

16. Маленький гарпун

Почему-то Ане вспомнилось: *Смотри, какая смешная девочка, личико совсем плоское* – наверное, первая обида. Это у меня личико плоское? У меня не личико, а лицо! Нормальное лицо, как у мамы и у бабушки! И набрать в лопатку песку и кинуть в эту мерзкую тетку, в ее реву-корову, прямо в глаза, чтобы знали, чтобы сами сощурились! Будет отчего плакать, а то что это – упал, коленку разбил, и в рев. Еще мальчик! Она вот девочка, а не плачет по пустякам.

Давно было, а картинка и сейчас перед глазами.

Неудивительно, что вспомнилось. Двор – как у бабушки Джамили, только деревьев больше. Хорошие деревья, особенно весной и осенью.

Тридцать лет прошло, а детские площадки все те же. Песочница, качели, горка. Иногда сделают ремонт – привезут какие-нибудь металлические лестницы, установят резные деревянные фигуры, качели покрасят яркой краской, песок навалят новой кучей.

В новом песке – те же дети, вокруг на скамейках – те же родители. Всё как тридцать лет назад. Папы читают газеты, мамы переговариваются, сидят молча, устало смотрят в одну точку, детей будто не замечают. Но это – до первой ссоры, до первых криков и слез. А потом – опять все то же:

Ну, не плачь, вот смотри, киска побежала, смотри, птичка пролетела, смотри, какая смешная девочка.

Не плачь, мужчины не плачут, сколько раз я тебе говорил!

Мальчик, перестань драться! Что значит – первый полез?

Отдай ему эту машинку, пусть задавится.

Девочкам надо уступать, ты же знаешь.

Я кому сказала: брось!

Я тебе сколько раз говорила: нельзя жадничать!

Мальчик, отдай лопатку, она не твоя!

За своим ребенком лучше смотрите, женщина!

Не связывайся с этими мальчишками, я кому говорю!

Пусть учится за себя постоять, а то всю жизнь будет... как его отец!

Иди сюда, мой хороший, иди к маме.

Где грабли, я тебя спрашиваю? Иди ищи, новые покупать не буду!

Летом песок, зимой снег. Куличики, снежные крепости, снежки, визги, крики, плач. Замерзшие ноги, будто снова – оптовый рынок. Волей-неволей приплясываешь, нет-нет да и посмотришь, кто как одет. Привычным взглядом – на обувь. Куртка-то у нее простенькая, а сапоги тысяч за десять. И девочка – в непромокаемом комбинезоне. Наверное, богатые. Квартира наверняка своя, не съемная. Машина тоже есть, иномарка, наверное.

Если бы Аня была домохозяйка при муже или работала дома, как ее подруга Вика, она бы знала, кто на какой машине ездит, а кто вообще ходит пешком. Но она во дворе только по выходным. Машине она не завидует, а вот хорошим сапогам, непромокаемому комбинезону, своей квартире – да, немного.

Сколько раз я тебе говорила: не смей завидовать! Нет, я не куплю такой же пистолет, как у Сережи. У нас нет денег.

У мамы Тани не было денег. Мама Таня работала в большом министерстве. Бабушка Джамили ею гордилась, хвасталась: не то что я, всю жизнь – то на заводе, то на стройке. А дочка – в министерстве работает! В чистоте! Министерство было большое, а должность маленькая, вот у мамы никогда и не было денег, и Аня, засыпая, часто слышала, как бабушка уговаривает маму взять у нее *до полочки* хотя бы десятку. Я же тебе все равно не смогу отдать, говорила мама, а бабушка отвечала: а на что они мне, вот умру – все вам с Гулькой достанутся.

Наверное, думает Аня, тогда-то я и решила, что в чистоте работать – сидеть без денег. Вот и стою за прилавком который год. И сапог за десять тысяч мне вовек не видать.

Ну ничего, говорит она себе, уж как-нибудь. Прорвемся. Выплывем.

Прорвемся – это у нее от мамы. В пять лет маленькая Эльвира впервые увидела, как мама плачет, – когда позвонили из профкома и сказали, что ей не досталось путевки в Дом матери и ребенка. Мама Таня бросила трубку, в ниточку сжала губы, стиснула кулаки и молча сидела за столом, надеясь, что дочка не увидит, как две слезы ползут по напряженным скулам. Потом выдохнула и сказала: *Ну, ничего. Прорвемся*, – и стала звонить каким-то своим подругам, и вызвонила чудесную дачу, где они провели целый месяц, лучше, чем в этом самом Доме матери и ребенка, куда им через год все-таки досталась путевка.

А что сейчас случилось с этим загородным пансионатом, куда по путевкам профкома ездили издерганные матери-одиночки с детьми и редкие полные семьи? Там показывали диафильмы про маму для мамонтенка, про вересковый мед, про знаменитого утенка Тима. Там дети бегали в мешках, участвовали в эстафетах, занимались гимнастикой – делай раз, делай два, а теперь приседания, – а родители смотрели с умилением. Там по вечерам за стеной полусшепотом скандалила семейная пара с завода «Серп и Молот», а потом долго скрипела кроватью, мешая заснуть молодой еще Татьяне, заставляя вспоминать то, чего уже никогда не будет, и завидовать разбитным товаркам, которые скидывали детей на воспитателей и пускались на поиски приключений – почти всегда бесплодные, потому что мужчины были при женах и детях, если не считать красавца инструктора. Стройный и подтянутый, в импортном спортивном костюме, он прогуливался по аллеям бывшей усадьбы, высматривая, кого бы пригласить на чашку чая, на стакан портвейна, на однократную ночь торопливой – вдруг ребенок проснется? – любви. В мечтах, вероятно, он чувствовал себя помещиком, делающим смотр своему крепостному гарему, а может, представлял, как через пару лет очередная мамаша скажет ему, показывая на своего малыша: *Никого не напоминает, а?*

Да, на даче у тети Шуры было куда лучше – и Аня навсегда запомнила это *прорвемся*, стиснутые губы и две слезинки на маминых щеках.

Значит, *прорвемся* было от мамы, а вот *выплывем* — это Анино. Сейчас она уже не помнила, откуда его взяла – из книжки? из мультфильма? – но уж точно не из бассейна, куда стала ходить с первого класса.

Попала она туда случайно: в школе почему-то не было продленки для первоклашек, и мама решила, чтобы девочке не торчать весь день дома, отправить ее в какой-нибудь кружок. Поблизости – чтобы не переходить дорогу – был только бассейн. Вот так в семь лет Аня впервые глотнула хлорированной воды, стиснула зубы и поплыла.

Плаванием она занималась девять лет. Уже давно стало ясно, что профессиональной пловчихи из нее не получится, но ей все равно нравилось, как вода расступается перед телом, как при каждом вдохе стекают по лицу струйки, как почти без брызг входит в воду рука. Иногда Ане казалось, что она не человек, а существо, рожденное жить в воде, – не то рыба, не то дельфин, не то диковинный крокодил. Или даже не существо, а подводная лодка, торпеда, гарпун, выпущенный в цель. Маленький гарпун в синей резиновой шапочке, со стиснутыми зубами, в дешевом купальнике, прикрывающем плоскую грудь.

Аня хорошо помнит, как мужчина впервые поцеловал ее грудь. Вадик был студентом физкультурного техникума и приметил Аню на сборах: тренер ее взял, уж очень Аня просила, а тут в последний момент заболела Даша Скорбина, вот и получилось одно свободное место. Мама отпустила, хотя и неохотно, решила: все-таки девочке уже пятнадцать, пусть делает что хочет. *Лучше спорт, чем дискотеки, я так считаю*, – сказала она тете Шуре по телефону ночью перед отъездом.

Аня помнит эти поцелуи – неумелые, как она понимает теперь, – и мужские руки, что пытались расстегнуть туго сидящие джинсы, наследство от потолстевшей тети Гули. Откуда

он взял ночью ключ от раздевалки, чего он наплел Ане, чтобы затащить ее туда, – она уже не помнит. Ей было приятно и немного странно. Вот об этом снимают кино и пишут книжки? – думала она, отводя чужие руки от тугой пуговицы на своем плоском тренированном животе и прижимая подбородком задранную майку.

Их руки снова и снова встречались на пуговице, и это уже напоминало какую-то игру, и кто знает, чем бы она кончилась, если бы не вспыхнул свет, не появился сторож, затем – тренер.

– Что, гормон играет? – кричал он. – Под статью меня подвести хотите? Она же малолетка, тебе что, сверстниц мало, идиот?

Утром Аню отправили домой – что было, конечно, несправедливо, хотя и объяснимо: для большого спорта она была бесперспективна, а у Вадика мама работала в спорткомитете, и потому он считался восходящей звездой.

В бассейн Аня так и не вернулась, а в душе затаила обиду – не на тренера и не на Вадика, а на волнение, которое почему-то не дало одернуть майку, вскочить, ударить коленом между ног, убежать из раздевалки.

Мама права, думала пятнадцатилетняя Аня, с мальчишками лучше не связываться. Какая смешная девочка, личико совсем плоское, не плачь, мой маленький.

И вот сейчас она сама говорит: Не плачь, мой маленький, – и вытирает Гоше слезы. Сказать, что ли, «мальчики не плачут»? Впрочем, нет, как раз мальчики всегда рыдают. Лучше вытру слезы, нагнусь пониже, чтобы никто не слышал, скажу в мохнатое от шапки ухо: Не плачь, мой маленький. *Тахтагоновы не плачут.*

Неправда, конечно. Плачут, еще как плачут. Я и сама плакала, когда проиграла свой первый серьезный заплыв. Плакала, стоя под душем, – так слезы не видны, никто и не заметил. Слезы текли по щекам, а я повторяла: *Прорвемся, выплывем* – и до сих пор повторяю. Вот я и прорвалась, вот и выплыла: с голоду не умерла, на панель не пошла, ребенка родила и зарабатываю нормально.

А что в дешевых сапогах ноги мерзнут – так это и попрыгать можно.

Делай раз, делай два. А теперь – приседания.

17. Когда-то мы были молодыми

Девушка-блондинка, завитые кудряшки, короткая дубленка, край джинсовой юбки, дешевые сапожки, шерстяные чулки. Парень в лыжной шапке, в ухе – серьга, дутая куртка, джинсы мокры до колена, ботинки в разводах от соли.

Смотри-смотри, говорит себе Никита, вот что бывает с одеждой, если ходишь пешком по февральской Москве.

Блондинка в кудряшках и парень в куртке целуются между стеллажей в «Перекрестке» – думают, их никто не видит. Девочка тянется вверх, мальчик нависает над ней... нет, не нависает, скорее – прикрывает, окутывает, точно снег – мерзнущие деревья.

Рядом в тележке – одинокая бутылка дешевого шампанского.

В тот первый день, вспоминает Никита, мы заказали шампанское на вилле «Ксения». Кажется, вообще без закуски. Точно – без закуски, сейчас вспомнил: на столе одиноко стоят два бокала, медленно всплывают пузырьки. *Смотри, там кто-то дышит*, пошутила Маша, и мне вдруг стало жутко.

Я тогда еще не знал, что буду заниматься аквариумами. Чего-чего, а пузырьков навидаюсь.

Что покупают в магазине люди, которые едят в ресторане? Туалетную бумагу, зубную пасту, воду «Аква Минерале», чтобы не возиться с фильтром, хлеб для утренних тостов, баночку джема. Неудивительно, что в холодильнике у нас пусто.

Когда-то Маша любила готовить. До сих пор на кухне целая полка кулинарных книг. Индийская кухня, китайская, венгерская, испанская, «готовим суши сами», «сто блюд из рыбы» и так далее.

Зачем кулинарные книги людям, которые едят в ресторане?

Когда-то Маша возвращалась из магазина с полными сумками. Яйца, сыр, мясо, рыба, масло, крупа, четыре вида итальянской пасты... если были деньги.

Ведь когда-то случалось, что денег и не было.

Кем я только не пытался работать! Даже ходил по квартирам, продавая разную дребедень типа дешевых миксеров, целую зиму, помню, извозом подрабатывал. Получалось, но не слишком – на жизнь, что называется, хватало, но не больше. Потом – авария, КамАЗ выскочил на красный, заднюю правую дверь и полсалона – всмятку, хорошо еще – ехал порожняком, да и сам был пристегнут. Гаишники переписали номера, составили протокол. Выяснилось: водитель пьян, я невиновен, ремонт мне должны оплатить. Мы с Машкой уже прикидывали, какую новую машину на эти деньги купим, – и тут оказалось, что КамАЗ зарегистрирован на какую-то дохлую фирму, ни директора, ни юрадреса, вообще ничего. То есть денег взять не с кого, а я тогда был не застрахован, потому что в девяностые никто ничего не страховал.

Так мне это все было обидно, что вернулся я домой, прошел на кухню, сел и сижу, чуть не плача. Машка подошла, спросила: Что случилось? – только рукой махнул. И тогда она села на корточки рядом, положила мне голову на колени. Я ее по голове погладил, будто маленькую девочку. И подумал, что ведь, кроме как на меня, ей рассчитывать не на кого. Что она в меня верит, на меня надеется. Выходит, деваться мне некуда, надо как-то выкручиваться.

Хорошо помню: вечер уже, за окнами небо такое, сумеречно-закатное, сидим на кухне, я Машку по голове глажу и чувствую: отпустило меня. Типа, все же хорошо: квартира есть, жена любимая рядом, справлюсь как-нибудь. Я до сих пор думаю иногда: если бы Машка мне голову на колени тогда не положила – ничего бы у меня так и не вышло. Ни в тот раз, ни потом, ни с бизнесом этим самым, ни с деньгами, ни с чем.

А так с бизнесом все получилось само собой: три года назад кто-то из знакомых спросил, нет ли у меня на примете специалиста по аквариумам, – у них в офисе зацвела вода, надо

сменить, вымыть, и чтобы рыбки не передохли. Если бы у меня была нормальная работа, я бы сказал: *Поищи в интернете*, и все бы на этом закончилось, а так предложил: *Ну, давай я сделаю, все-таки в детстве у меня дома были рыбки*. Оказалось, что аквариум не один, а десять, потому что это большая контора, а потом я предложил поменять всё, что накидали на дно в зоомагазине, кто-то спросил, можно ли сделать, например, развалины индийского храма, я сказал: *Запросто!* Нашел дизайнеров, заплатил сто баксов специалисту из Института стран Азии и Африки – и понеслось.

Теперь у меня – пятнадцать человек сотрудников, офис, клиенты, бизнес. И я знаю: если бы не Маша – ничего бы этого не было.

Я замираю перед стойкой молочных продуктов. Баночки, пакеты, разноцветные, радостные. Пять лет назад, когда у меня появлялись деньги, я заходил в магазин и покупал Маше даноновский йогурт. Он был чуть дороже, но она говорила – намного вкуснее.

Как все было просто! Казалось, чуть больше денег – и жизнь наладится. Когда-то лишние сто долларов – уже праздник. Когда-то в ресторан вдвоем сходить – уже счастье.

Когда-то мы были молодыми.

А сейчас у нас в холодильнике пусто – вроде как потому, что мы не едим дома.

Интересно, что ест Маша, когда сутками не выходит на улицу? Неудивительно, что она так похудела.

Сидит одна в нашей большой квартире, за окном – сумеречно-закатное небо, меня дома нет. Я – на работе или, того хуже, у Даши.

Впрочем, не так уж часто я к Даше езжу. На пальцах сосчитать можно. Четыре раза, точно. Хорошо помню.

Даже слишком хорошо – до последней детали.

Как это меня угораздило?

Не может ведь Маша ничего не чувствовать, ни о чем не догадываться? Вот и грустит, вот и сидит одна.

Грустно об этом думать. Грустно и стыдно.

Хочется купить ей что-нибудь вкусное. Где же те даноновские йогурты, которые она так любила? Ах, вот они. По две штуки каждого сорта.

А еще можно взять баночку икры.

Как все-таки было просто, когда не было денег! Йогурт – и все счастливы.

Права мама: от денег всё зло.

В очереди к кассе девочка-блондинка и мальчик в дутой куртке оказываются как раз передо мной. Она осторожно катит тележку, словно коляску с ребенком. Мальчик нагибается и целует ее в затылок. Она оборачивается, задирает голову и прижимается губами к его губам.

Я никогда больше не буду так целоваться. Так целоваться можно только в молодости. Только когда кажется: всё – в первый раз, когда веришь: от счастья отделяет пустяк – отдельная квартира, свой угол, немного денег.

Я не могу так целоваться с Машей: так можно целовать только счастливого человека.

Я не могу так целоваться с Дашей: богатые папики не целуют девушек на людях. Смешно это – седина в бороде, бес в ребро.

У кассы мальчик берет со стойки пачку презервативов, кладет на прилавок рядом с шампанским.

В его годы я стеснялся покупать презервативы – их, впрочем, и не продавали в универмагах.

Наверное, я и сейчас немного стесняюсь. Мы с Машкой презервативами не пользуемся, и мне кажется – все понимают: вот мужчина берет гондоны, собирается трахать молодую любовницу.

Наверное, лет через тридцать я буду покупать презервативы с гордостью: смотрите, у меня еще стоит!

Если еще будет стоять, конечно.

Никита берет с полки упаковку Durex'a, вертит в руках. Кажется, Даша как раз такие и любит. Надо купить, принести с собой в следующий раз.

Прямоугольная упаковка ложится рядом с йогуртами.

Durex и Danone. Даша и Маша, любовница и жена.

Вот и я стал настоящим бизнесменом, думает Никита, ничуть не хуже Кости. Хорошо еще, квартиру Даше не снимаю, деньги в семью несусь, как порядочный.

Касса выщелкивает чек, мальчик долго выгребает из куртки мелочь, девочка лезет в сумку, вынимает из кошелька последнюю купюру. Мальчик сует презервативы в карман, перехватывает бутылку за горлышко, другой рукой обнимает блондинку за талию. Они идут к выходу, в дверях останавливаются.

На улице – мокрый февральский снег, промозглый ветер, машины разбрызгивают грязь.

Они целуются еще раз, и мальчик, приоткрыв дверь, пропускает девочку вперед.

Никита смотрит им вслед, потом вынимает из тележки Durex и возвращает на полку.

Маша сидит в своем любимом кресле. Даже не зажигает свет. Даже не встает, когда Никита открывает дверь.

– Смотри, что я принес, – кричит Никита.

Он водружает на поднос все восемь баночек йогурта, кладет рядом чайную ложку, опускается перед Машей на ковер, утыкается лицом в ее колени.

Маша улыбается уголками губ.

– Спасибо, – говорит она и целует Никиту в затылок, точь-в-точь как давешний мальчик свою подружку.

– Я забыл, какой из них ты любишь, – говорит Никита, – поэтому купил все.

– Милый, – отвечает Маша с легким раздражением, – ты забыл, что я этого не ем.

– А когда-то любила.

– «Данон» уже давно испортился, – едва заметно пожимает плечами Маша.

То, что мы когда-то любили, давно испортилось, думает Никита. И наша любовь, наверное, тоже. Наверное, мы просто не умели как следует любить.

– Может быть, икры? – предлагает он.

– Я просто не голодна, – отвечает Маша.

Ну что ты будешь делать. В самом деле!

18. Детские сказки

Если время податливо, как глина, если душа в бесконечных странствиях бросается взад и вперед, почему нельзя увидеть будущее? Почему мне вечно показывают прошлое, думает Маша, почему в моем персональном домашнем кинотеатре на зыбкой грани между явью и сном не проступает то, что будет со мной?

Наверное, я знаю и так. Многие сказки начинаются одинаково: *жили-были старик со старухой, а детей у них не было.*

Старик и старуха из сказок – это, наверное, как раз и есть лет сорок – сорок пять, возраст, когда уже не остается надежды. Тут поможет только чудо: Бог явится, одарит второй буквой «р» в имени, от твоих чресл произведет избранный им народ. Горошинка закатится в щель между половицами, сосновый чурбачок оживет, снежная девочка заговорит, отрубленный палец превратится в мальчика, из цветка родится девочка. Птица-кукушка высидит сорок куриных яиц, репка в печке обернется младенцем, на худой конец полено станет мальчишкой, хотя для этого даже старуха не нужна.

Значит, жили-были старик со старухой, и было им сорок лет.

Сколько лет было моим приемным родителям, когда они забрали меня из детского дома? Забрать ребенка из детского дома гораздо лучше, чем удочерить полено или репку. Но Маша хочет своего ребенка и только своего. Потому что считает: приемные дети всегда уходят.

Маше было двадцать четыре, когда родители решили уехать. Получили документы на всю семью, бесконечно долго паковали книги, среди которых прошло Машино детство, в отдельную коробку убрали школьные дневники и фотографии, заказали контейнер, все вывезли.

Пустая квартира казалась огромной. Они ужинали за одиноким кухонным столом, когда Маша сказала, что никуда не поедет.

Почему она должна ехать? Ей двадцать четыре, она не ребенок, сама себе хозяйка, два года назад окончила иняз, устроилась редактором в какой-то научный журнал, недавно вот зарплату подняли, она и так собиралась снять квартиру осенью, и вообще – она никогда не говорила, что собирается уезжать вместе с ними. Она просто помогала паковать вещи, вот и все.

Это правда – но главного Маша не сказала.

Иногда бывают такие моменты, когда понимаешь: твоя жизнь принадлежит только тебе. И только ты решаешь, как ее прожить.

Для этого Никите был нужен бизнес, Эльвире – сын, Мореухову – джин-тоник и живая вода. Маше хватило запоздалого расставания с девственностью, первого оргазма, полученного от мужчины, первой трехнедельной задержки.

Ей было проще сказать *никуда я с вами не поеду*, чем признаться: она беременна, отец ребенка женат, старше ее на десять лет и даже не думает разводиться.

Ну да, служебный роман. В инязе с мальчиками было не особо.

Просто помогала паковать вещи, сказала она, и отец тут же закричал: Ты с ума сошла, как здесь можно оставаться, хоть тушкой, хоть чучелом, не имеешь права! – и это *не имеешь права!* особенно разозлило Машу, и она рявкнула что-то вроде: да кто вы такие, чтобы мне указывать, вы мне даже не родители! – хлопнула дверь, убежала ночевать к Оле.

Она бы никогда не смогла уйти, если бы в квартире все было по-старому. Но дом, из которого она убегала, выпотрошенный труп дома, где прошло ее детство, был распахнут всем ветрам – вот Машу и унесло прочь, словно Элли – волшебным ураганом.

За месяц, что она прожила у Оли, мама с папой не позвонили ни разу. Да, зря она тогда сказала *вы мне даже не родители!* – но первой звонить не собиралась, и без того было тошно, рвало после каждой еды, нет, почему, почему она не предохранялась?

Мама позвонила первой. Чудом, сказала, достали билеты, улетают через два дня. Я завтра зайду, сказала Маша, но среди ночи ее увезли на скорой с кровотечением, а когда она вышла из больницы, телефон уже не отвечал.

Она снова осталась сиротой.

Конечно, потом Маша им написала, извинилась, даже приехала потом в Америку, один раз. Но все равно – плохо они тогда расстались.

Маша думает: из-за этого, наверное, все так и вышло.

Гинеколог в больнице сказал, что у нее вряд ли будут дети. Она не слишком задумывалась об этом тогда, в двадцать четыре. Не задумывалась и в тридцать, когда стала жить с Никитой. Три года назад вдруг поняла: хочет ребенка.

Сделай себе сосновую чурочку, слепи себе снежную девочку, заверни отрубленный палец в тряпочку, посади цветок из зернышка. Собери сорок куриных яиц со всей деревни, посади на них птицу-кукушку. Положи репку в печку, закрой дверцу, достань утром девочку.

Помолись, в конце концов, Богородице.

Только Маша не умела молиться – в детстве про переселение душ ей рассказывали больше, чем про Бога.

Не будет Маша лепить себе Снегурочку, не проклюнется из цветка Дюймовочка, не вылезет из микроволновки девочка-Репка.

Только Маша представляет, как идет по скверу, катит коляску, а прохожие спрашивают: Кто это у вас?

А Маша говорит: *Это моя дочка.*

Люди спрашивают: *Почему у вашей дочки серые щеки?*

А Маша говорит: *Она давно не мылась.*

Люди спрашивают: *Почему у нее мохнатые лапы, а усы, как у папы?*

Маша говорит: *Она давно не брлась,* – и тут коляска опрокидывается, оттуда выскакивает котенок, усатый-полосатый, и, разматывая за собой пеленки, бежит к ближайшему дереву с истошным кошачьим мявом.

И все видят, что это Маша, Маша Мельникова, глупая девочка, бедная женщина, сорок лет, детей нет, наверное, надо сказать мужу, пусть покажет врачу, а такая хорошая пара, верно говорят – богатые тоже плачут.

Ну нет, говорит себе Маша с внезапной злостью, не будет такого! Меня детскими сказками не напугать, я их еще ребенку почитаю, еще скажу ему: *Смотри, какая смешная девочка, котенка в коляску положила!* Ребенок засмеется, и мы с Никитой снова будем счастливы.

19. Реинкарнация. Максим

Засыпая, она держала его за руку. Многие так любят: у Максима сильные руки, крепкие запястья профессионального машиниста, пальцы, натренированные ежедневной гимнастикой: йцукенгшщзх, фывапролджэ, ячсмитьбю. Девушкам нравится.

Утром разбудил поцелуем, приготовил завтрак. Завтрак должен быть простым: грейпфрут, два яйца, два тонких ломтика подсушенного хлеба из цельного зерна. Грейпфруты трудно достать, поэтому сегодня – только яйца и хлеб. Выглядит банально, а на самом деле – диета по Брэггу, чудо голодания, завтрак натуропата.

Раньше Максим любил сложные, изысканные блюда. На полке до сих пор стоит «Книга о вкусной и здоровой пище», «Кухня союзных республик», «Венгерская кухня», «Польская кухня» и чуть в стороне – аккуратно переплетенная машинопись «Еврейской кухни».

Он ходит по квартире голым. Смешно: утром девушки стараются побыстрее натянуть на себя что-нибудь, стыдливо опускают глаза, когда он встает из-за стола, стесняются своей наготы.

Сегодняшняя гостья только накинула рубашку, сидит нога за ногу, сдувает светлую пряжку со лба. Совсем не стесняется. Молодец.

У Максима волосатая грудь, волосы до плеч, густая борода. В такой бороде седые волосы выглядят серебряными нитями. Максиму это нравится. Он собирается стареть красиво.

Максим любит женщин. В том, что касается женского тела, у него нет предубеждений. Толстые и худые, стройные и сдобные, блондинки и брюнетки, едва достигшие совершеннолетия нимфетки и женщины в ожидании климакса – все перебивали на раскладной тахте в однокомнатной квартире в Чертаново. Все аккуратно переписаны на каталожные карточки, сложены в дальний ящик стола, пронумерованы, внесены в ежедневник.

Ежедневник – удобная вещь. Никогда не пропустишь день рождения или день, когда можно позвонить и сказать: ты ведь помнишь, завтра у нас годовщина.

Цифры лучше имен. Цифры – они разные, а имена – одинаковые: каждая вторая девушка – Лена или Света. Ну, они, конечно, выкручиваются, как могут, но вариантов-то все равно – раз-два и обчелся. Света, Светик, Вета, Лана. Вот еще – Лена, Алена, Лёля.

Сегодняшняя Лёля была Лёля номер два. А в общем списке – номер 34.

Максим хочет довести число своих подруг до ста восьми – священное число в буддизме. Это его миссия.

Максим по натуре миссионер. Просветитель. Учитель и гуру. Апостол множества новых религий.

В шестидесятые он перепечатывал на машинке стихи Цветаевой, Мандельштама и Ахматовой, переписывал на катушки битлов и Окуджаву. Сам сочинял песни, играл под гитару, неплохо пел. Одна его песня стала известна всей стране: знаменитый бард однажды спел на концерте. Как честный человек, перед началом он объявил имя настоящего автора: *Эту песню написал мой друг, поэт и прекрасный человек Максим Рожков*, – но в записи, которая потом разошлась в сотнях экземпляров, как раз в этом месте зажевало пленку, и кроме *поэт и прекрасный человек* ничего нельзя было разобрать.

Максим, впрочем, не огорчился. К авторской песне он быстро охладел и сам уже не помнил, что он там написал когда-то, – *что-то про лес... или про горы... кажется, костер и любовь. Обычная песня.*

Тем более наступили семидесятые, Максим открывал для себя Майстера Экхарта, Рудольфа Штайнера и Елену Блаватскую – а также йогу, тантру, камасутру и китайские трактаты о любви.

– Главное в китайском искусстве любви, – говорит Максим, заваривая чай, – сохранять энергию ци. То есть мужчина не должен эякулировать. Ты могла заметить, я использую для этого специальную технику. После завтрака я еще раз покажу тебе, что нужно делать, и ты сможешь научить этому других мужчин.

Номер 34 сдувает светлую пряжку и говорит: *А мне нравится, когда мужчина в меня... ээ... эякулирует.*

Максим удивлен. Женщины редко его перебивают. Как правило, они ловят каждое слово, о чем бы он ни говорил: о технике секса, лютневой музыке XVII века, последнем фильме Феллини или поисках Шамбалы.

Максим почти никогда не молчит. Вместо струйки спермы он извергает фонтаны слов.

– Это всего лишь зов природы, – говорит он. – Тебе нравится сперма, потому что в тебе есть инстинкт продолжения рода. Но этот инстинкт должен быть преодолен. Дети не нужны. Люди заводят детей по невежеству, думают, что дети продолжат их жизнь. Глупости! Наша жизнь и так продлится после смерти, потому что мы переродимся в других телах. Будда учил еще три тысячи лет назад: нашу следующую жизнь определяет наша карма.

А что определяет жизнь наших детей? – спрашивает номер 34.

– Их собственная карма, – объясняет Максим. – Совокупность их дурных и добрых поступков в цепи предшествующих рождений.

То есть дети ничего не получают от родителей? Номер 34 надувает губки и морщит лоб.

– Ничего, – твердо говорит Максим.

А почему я тогда похожа на маму?

Он не знает, что ответить, и потому говорит:

– Это всего лишь внешнее сходство.

Через год Максим достает каталожную карточку, читает мелкие буковки: «№ 34. Лёля, Елена Борисова. Блондинка. Синие глаза. Грудь средняя. Принесла перепечатать свои стихи. Стихи плохие. Когда забирала, осталась на ночь. 12 ноября 1973 года. За перепечатку заплатила. В постели темпераментна, но слишком разговорчива». Последние два слова дважды подчеркнуты. Внизу написан телефон.

Максим верит в технику. В технику секса, в науку и технику, в технику общения. Он всегда говорит почти одни и те же слова: Ты знаешь, завтра у нас годовщина, ты понимаешь, да? Я тебя весь год вспоминал и вот решил позвонить. Впрочем, если девушка ему очень нравится, он может позвонить через месяц и даже через неделю. Жалко отпускать их навсегда, но поддержание старых связей отнимает слишком много времени и сил. За этот год список увеличился всего на семь номеров. Впрочем, Максим намерен неустойчиво трудиться до глубокой старости.

И вот Лёля снова сидит на кухне, все еще загоревшая после прошедшего лета, вязанный свитер, коричневые брюки, туфли на платформе. На столе капустный салат, печенка и хлеб.

Почему-то Максиму кажется, что у нее увеличилась грудь, – надо будет исправить в карточке. И подчеркнуть «слишком разговорчива» еще один раз. Так разговорчива, что к ней даже не тянет.

– Ты знаешь, я тоже весь год много думала о нас с тобой. В смысле, о том, что ты мне сказал. Что это два пути посмертной жизни – дети и перерождение. Я вот думаю, что на самом деле это должно быть одно и то же: материнская и отцовская кармы дают карму ребенка. Ну, как у Мичурина. Скрещивание. А еще у ребенка есть своя карма, доставшаяся ему из прошлой жизни. И вот эти три кармы и определяют все, что с нами происходит. Только на самом деле их не три, а больше. Потому что есть еще бабушки и дедушки, их мамы и папы... это такая бесконечная цепь. Я даже написала стихотворение – хочешь, прочту?

И, не дожидаясь ответа, начинает: *Нерожденная дочь, я к тебе обращаюсь...*

Максим терпеливо ждет, пока она закончит, а потом говорит:

– Тебя можно поздравить?

Впервые он видит, как номер 34 краснеет.

– Как ты догадался? – говорит она.

– Прости, – отвечает Максим, – это секрет.

Это в самом деле секрет: уже не первый раз он замечает, что стоит женщине забеременеть, она теряет для него всяческую привлекательность. Он, вероятно, огорчается, что не смог хорошо объяснить про энергию ци и бессмысленность деторождения.

Номер 34 кивает, прикусывает нижнюю губу, сжимает кулачок и молчит.

– Понимаешь, – начинает Максим, – деторождение, конечно, только умножает биомассу и создает новые живые существа, обреченные на страдание и привязанности, но раз уж ты решила сделать эту глупость, я должен со всей ответственностью рекомендовать тебе книжку доктора Спока по воспитанию детей. Ты, наверное, уже слышала о ней, но я на всякий случай кратко перескажу основные идеи...

И тут Максим замечает: губы у номера 34 дрожат, а в голубых глазах набухают слезы.

– Обними меня, – говорит она, – мне страшно. Я совсем одна.

И тогда Максим бросает разговор о докторе Споке и биомассе, обнимает Лёлю за плечи, гладит по выгоревшим волосам и неожиданно для себя начинает говорить, что все у нее будет хорошо, ребенок родится здоровым, вырастет счастливым, ничего, что ты сейчас одна, это совсем недолго, ты ведь очень красивая женщина, талантливая, умная, пишешь прекрасные стихи, все образуется, честное слово. И пока Максим говорит, он сам верит: счастье возможно, и надо только подождать, прочитать еще несколько умных книжек, разучить пару новых техник, все людям объяснить, и они наконец поймут, и дети будут рождаться не для страдания, а для счастья, для чистого, безоблачного счастья.

Он подумал, что слезы тоже содержат энергию ци и надо учиться их сдерживать, – подумал, но все равно заплакал.

Лёлю он больше не встречал. Через два года крестился под именем Петр и женился на женщине, которую встретил в храме на Пасху.

Если бы он продолжал свой список, она звалась бы номер 51.

Но теперь уже Петр не вел списков, называл прелюбодеяние одним из самых страшных грехов, деторождение считал единственным оправданием для секса и мечтал завести двенадцать детей, по числу апостолов. Впрочем, даже к этому числу – куда скромнее, чем сто восемь, – ему приблизиться не удалось: врачи обнаружили у него бесплодие.

Он сильно переживал, но в конце концов утешился словами бразильского прозаика Машадо де Ассиза: «Сальдо в мою пользу: у меня не было детей, и я никому не оставил в наследство тщету своего земного бытия».

Если не считать тщеты земного бытия, наследства от Максима почти не осталось. После крещения он не то уничтожил, не то раздарил огромную библиотеку эзотерической и самиздатовской литературы. Та же участь постигла коллекцию катушек с уникальными записями классиков авторской песни.

Только песня, написанная Максимом и спетая знаменитым бардом, пережила своего автора. До сих пор некрасивые девочки и инфантильные очкарики поют ее на кухнях родительских квартир, на полянах коммерциализированных слетов, в уютном дыме походных костров.

20. Достойна лучшего

– Что вы, Анечка, все время Марк Борисович да Марк Борисович? Зовите меня просто Марик, как друзья называют.

Тоже сказал – Марик! Сорок пять лет мужику, виски все седые, брюхо под ремень не помещается, а все – Марик!

– Нет, ну честно, Марк Борисович, мне неудобно. Вы же все-таки начальник, – и Аня кокетливо улыбается.

– Хорошо, пусть будет просто Марк. И давайте заодно перейдем на «ты», раз уж мы так неформально. Выпьем, как говорится, на брудершафт.

Марк пил коньяк, Ане заказал «бейлис», сладкий и липкий. Андрей тоже угощал один раз, Ане не понравилось.

Выпили, поцеловались. Поцелуй получился слюнявый, как Аня и подозревала.

Запила его приторно-сладким кофе.

– Вообще, Анечка, ты достойна лучшего. Что это за работа для молодой и красивой девушки – продавщицей в магазине? Как-то это не романтично.

Аню вдруг передернуло хуже, чем от поцелуя. Папа, когда они наконец встретились, не то на третий, не то на четвертый раз стал учить жизни: Зря ты пошла в торговлю, нет в этой профессии никакой романтики. Сам он при этом работал в каком-то кооперативе, тоже мне – романтическое место!

Аня тогда так разозлилась, что сказала: Слушай, я без тебя двадцать лет жила – и дальше проживу! Я на тебя только посмотреть хотела. Посмотрела – и хватит!

Все-таки правильно мама его отшила: редкий был козел, хотя и нехорошо так о покойнике.

– Вот скажи, ты, например, танцевать любишь?

– Танцевать? – переспросила Аня. – Нет, не очень. Я, Марк Борисович, плавать люблю.

– Мы же договорились – Марк, просто Марк.

– Ой, извините... то есть извини.

– Вот так, правильно, – и довольно засмеялся.

Интересно, что он время тянет? Аня ведь предупредила: к девяти она должна уйти. Соврала, что надо маму отпустить, на самом деле – с Андреем в кино. Обычно они в семь ходили, но тут он позвонил, сказал, что на работе задержали.

Вот и образовались два лишних часа. Зинка говорит: очень кстати, Марк уже начинал злиться. Неслучайно в понедельник заставил два раза менять расстановку тувель на стенде, замучилась прямо.

– Я вот еще давно хотел спросить: ты по национальности кто будешь? – Спросил – и сам смутился, добавил: – Ты не подумай чего... я, как говорится, интернационалист... просто у тебя лицо такое необычное.

Был у Ани когда-то знакомый воин-интернационалист, контуженный из Афгана. Тоже лицо было необычное.

– Да я татарка, Марк Бо... то есть просто Марк. А я просто татарка. По фамилии же понятно.

Интересно, спросит: «А правда, что у вас, татарок, там поперек?» Почти все спрашивают. Первый раз Аня обиделась, буркнула: «У нас – как у всех», а потом только смеялась: мол, поперек – это у китайцев, нам, татаркам, на лошади неудобно скакать будет.

Нет, не спросил, только скосил глаза на золотые часы и сказал:

– Мне всегда азиатские девушки нравились. Они очень страстные... и секс с ними особенный. Ну, ты понимаешь?

Аня кивнула и отодвинула пустую чашку.

– Ну что, пойдем? А то мне уже бежать скоро.

Спустились на склад, там все и случилось. Всего-то делов – на десять минут, а в кафе час просидели. В кино придется бегом бежать.

Одно слово – Марик.

Теперь уже точно: не Марк, не Марк Борисович – Марик.

Склизкий жирный сорокалетний Марик.

В кино все равно успела раньше Андрея: в пятницу такие пробки, на машине быстро не доедешь. Купила билеты: пусть не думает, что у нее нет денег. Первая пришла, вот и купила. Теперь она стоит, опершись спиной о колонну, смотрит на часы и понемногу начинает злиться: можно, в конце концов, бросить машину и поехать на метро. Знала бы, что ждать придется, – хотя бы книжку взяла какую-нибудь, а так остается только рассматривать зрителей, толпящихся у кассы.

Ане кажется, она уже где-то видела этих людей: не то в другом кинотеатре, не то в кафе, не то в ресторане, куда с ней однажды ходил Андрей. Всюду, куда они ходят с Андреем, она видит одних и тех же людей: они улыбаются не то самодовольно, не то нервно, громко говорят по мобильным, иногда теребят в руках ключи от машины.

Впервые таких людей Аня заметила года два назад, в «ИКЕЕ». Они приезжали по вечерам, сразу после офиса, но больше – по выходным. Поодиночке и парами, покупали белье, мебель, посуду, офисные стулья, детские игрушки, рамки под фотографии, футляры под CD, торшеры, люстры, светильники, под Новый год – елки, которые – невиданное дело! – после праздников принимали назад.

С каждым месяцем их становилось больше, словно где-то в Москве заработала фабрика по производству офисных работников, – а может, они просто узнали об «ИКЕЕ» позже других и теперь ломанулись наверстывать упущенное.

До них покупатели были другие, попроще. Скромные застенчивые мужчины приходили в магазин по выходным – семьями, с детьми. Обедали в кафе, играли в компьютерные игры в детской комнате, изучали игрушки, мебель, постельное белье. Покупали чего-нибудь рублей на сто пятьдесят, брали чек и проникновенно говорили Ане спасибо.

Бизнесмены из провинции нагружали полные тележки, пытались договориться про «мелкий опт». Потом, наверное, увозили к себе в регионы торговать в своих магазинах.

Суетливые, шумные люди прибегали к открытию, толкались, бежали туда, где со скидкой продавались товары с небольшим браком. Продавцы между собой называли этот отдел синагогой, Аня не слишком вникала – почему.

Были и такие, что пытались дать на чай. Аня чаевых не брала (предупреждали: возмешь хоть копейку – уволим), но все равно – от этого еще сильнее казалось, что она работает не в магазине, а в цирке или, скажем, в ресторане.

Наверное, потому и уволилась в конце концов. Да еще скулы устали все время улыбаться.

Зато вот теперь приходится пить кофе с Мариком. Дура она была, честное слово.

Хотя тут и зарплата побольше, и звание посолдней. Хорошая работа, да и вообще – лучше десять минут с Мариком на складе, чем восемь часов на кассе со сжатыми зубами.

– Девушка, простите, вы ждете кого-нибудь? – Невысокий парень в шапке-пидорке и китайской куртке с оптового рынка.

– Да, – кивает Аня.

– А не меня случайно?

– Нет.

– Ну, извините. А то я думал – вы одна, я один... сходили бы в кино, заодно бы познакомились.

Аня не отвечает, но паренек не унимается:

– Говорят, прикольный фильм. Я вообще-то люблю такое кино, типа со спецэффектами. Да и вообще, разное люблю. Даже про любовь. А вы кино любите?

Аня качает головой. Она любит пару-тройку старых фильмов, из тех, что десять-пятнадцать лет назад смотрела дома у редких знакомых, заработавших себе на видеомэгнитофон. Сейчас, конечно, у нее самой есть видик – Гоше мультики показывать, – а когда-то это была настоящая роскошь. С тех пор она и запомнила несколько фильмов, все больше про женщин-киллеров и наемных убийц из спецслужб.

– Чего, в самом деле не любите? – удивляется парень. – А чего ждете тогда? Давайте, может, пойдем отсюда? Можно, это, на каток сходить. Или погулять.

– Ага, – говорит Аня, – погулять. Чего на улице творится – видишь?

– Да, тоже верно, – вздыхает он. – Ну, тогда можно в гости куда-нибудь отправиться, если на каток не хотите.

Только вот катка мне и не хватало, с раздражением думает Аня. В бассейн она бы сходила с удовольствием. Как-то даже подсчитала: абонемент на двоих вышел бы те же четыреста долларов в месяц, по субботам ходили бы с Андреем вдвоем, по будням она бы иногда забегала перед работой. Непонятно, правда, как – дорога до работы сорок минут плюс Гошу в детский сад отводить. Но Аня знает: если бы у нее был абонемент, время она бы нашла.

Теперь она плавает редко – летом иногда выбирается на водохранилище, но там разве поплаваешь? Все время надо смотреть за Гошей – плавать еще не научился, а к воде тянет как магнитом. Получается не плавание, а одно расстройство.

Бассейн – другое дело. Аня представляет: словно двадцать лет назад, она раздвигает воду, двигается в одном ритме с волной, вдох-выдох, вдох-выдох, рука входит почти без брызг, струйки текут по лицу, знакомый запах хлорки, дорожка двадцать пять метров из конца в конец, раз за разом, будто снова соревнования, дистанция, надо прийти первой.

Стоит подумать об этом, Аня начинает злиться на Андрея – хотя чего злиться? Она же с ним даже ни разу не говорила про бассейн.

Ну, слава богу, не так она воспитана, чтобы у мужчины просить хоть что-нибудь.

Недаром мама в свое время отказалась от алиментов – лучше без денег, чем брать что-то у мужчины, который *так с ней поступил*. Как – *так*, Аня не знает до сих пор: не приходило в голову даже спросить.

– А можно еще в клуб завалиться, – продолжает парень. – Ты танцевать любишь?

– Не люблю, – отвечает Аня и раздраженно смотрит на часы. Фильм уже начался, но там еще пять минут рекламы.

– А чего, – говорит парень. – Может, ну его?

– Кого?

– Того, кого вы ждете. Мне кажется, он вас недостаточно ценит. Вы достойны лучшего. Красивые девушки не должны долго ждать, правда? Не стоит он того, честное слово.

В самом деле, думает Аня, может, плюнуть – и пойти в кино с этим парнем? А то стою как дура.

– Нет, вы сами подумайте – ну какой нормальный парень так с девушкой поступит? Я думаю, его проучить надо, чтобы в другой раз не опаздывал, правильно?

Аня смеется.

– Какой смех у вас чудесный, – говорит парень, – вам, наверное, анекдоты рассказывать – одно удовольствие.

А он ничего, думает Аня, смешной такой, не скучный. Может, в самом деле сходить с ним в кино, потом трахнуть, а Андрей пусть идет себе? Погуляли полгодика – и хватит.

– Меня Аня зовут, – говорит она, – а тебя?

– Меня Кирилл, – отвечает парень. – Слушай, а я вот хотел спросить: ты по национальности кто будешь?

– Татарка, – говорит Аня, – а что?

Аня всегда так отвечает, хотя татарка – всего на четверть, по-татарски не знает ни слова. Но все равно – русской себя не чувствует. Да к тому же – широкие скулы, узкие глаза, маленькая грудь...

– Не, я просто так спросил. У тебя лицо такое... необычное. Мне такие нравятся.

– Мне мое тоже нравится, – отвечает Аня, и тут наконец появляется Андрей, на ходу извиняется, ругает московские пробки и забитые дороги.

– Спасибо за билеты, – говорит Андрей, – я сейчас деньги верну.

– Вот еще не хватало, – отвечает Аня.

Не рассчитывай на мужчин – все равно обманут. Так говорила Анина мама, а до этого – ее мама, легендарная снайперша Джамиля Тахтагонова.

– Пока, Кирилл, – говорит Аня, обернувшись через плечо, – может, еще увидимся.

– Нормально, – отвечает Кирилл. – Если что – ты двигай сюда, я, может, еще и не уйду.

Хорошая у него жизнь, думает Аня. Можно вот так полдня слоняться без дела, девушек клеить. А у меня пять дней в неделю – детский сад, работа, детский сад. Ну ничего, хоть выплусь завтра утром.

21. Зомби идет домой

Иногда за день я так устаю, что мне трудно вести машину. Иногда я засыпаю прямо в метро – и тогда мне снится мой брат Саша, который возвращается домой после двухнедельного запоя.

Может, доверчивая девушка подобрала его у «Перекрестка», может, добрые люди дали денег *на лекарство*, может, он нашел в снегу кошелек – но каким-то волшебным образом Мореухов преодолел барьер между слабоалкогольной прелюдией и глубинным водочным заплывом. Как всегда, его ждут водяные черти, кривые коряги, придонная нежить – он погружается все глубже и глубже, надеясь добраться до дома, пока утопленники не стиснули его в склизких объятиях, клешни не разорвали плоть, темная вода не заполнила легкие. Надеется вернуться домой, прежде чем достигнет дна.

Водка – это горючее. У меня есть силы, пока она сгорает внутри, пока она сжигает меня. Когда этот огонь гаснет, я перестаю быть человеком. Я – зомби, живой мертвец, создание Джорджа Ромеро и Лючио Фульчи. Руки трясутся, слюна изо рта, нетвердая походка, расфокусированный взгляд.

Наверное, я должен пожирать других людей – но пока вроде обходилось без этого.

Когда я дома, мне нравится быть зомби. Тело зомби лишено души, оно полностью свободно. Эта свобода завораживает – так и хочется предугадать, что с моим телом будет через минуту, да не выходит. Оно может упасть, споткнуться на ровном месте, врезаться в стол, в сервант, в шкаф. Сесть мимо унитаза. Сесть на землю посреди улицы. Лечь. Замереть. Припадно завибрировать. Выблевать съеденное три дня назад вперемешку с только что выпитым.

То самое тело, которое ходит само по себе кругами по комнате без всяких усилий. Автономное тело абсолютной свободы. Тело экстаза и разрушения.

Я не зомби хорроров и джалло, я не набрасываюсь на прохожих, не пожираю чужую плоть.

Я питаюсь только своей.

Автономное тело действительно автономно: не считая алкоголя, оно живет на внутренних ресурсах. Оно пожирает само себя – и чем больше съедает, тем автономнее становится.

(Примерно так думает Мореухов, примерно так и объясняет Димону – только сбивчивей, запутанней, длинней. Где ж вы видели, чтобы алкоголик говорил как по писаному? Да и зомби не отличаются красноречием.)

Я выхожу из запоя совсем больным, объясняет Мореухов. Печень посажена, сердце никуда, поджелудочная вот-вот откажет, нервы, разумеется, ни к черту. Мое тело разрушено.

Мне нет тридцати, а я – ходячая развалина, живой мертвец.

Это правильно. Стать зомби – высшая форма аскезы.

Задумайтесь: если в один прекрасный день мертвецы, как пророчествуют Ромеро и Фульчи, в самом деле выйдут из могил, кто окажется старейшими зомби на земле?

Ответ: те, чьи тела не истлели за все эти столетия. Обладатели нетленных мощей. Святые и аскеты.

Стать зомби – честная игра. Это мое тело, кто запретит мне разменять его на экстаз и автономию?

Это достойный обмен.

Нет ничего слаще такого обмена – хотя если смотреть со стороны, наверное, нет ничего страшнее.

Хорошо быть живым мертвецом в собственной квартире. Промозглая февральская Москва – не лучшее место для зомби. Впрочем, Мореухов уже не чувствует холода. Его бьет озноб, он с трудом удерживается на ногах, но с каждым шагом он приближается к дому.

Никогда еще эта дорога не была такой долгой.

Да уж, поминки в самом деле затянулись.

Он уже узнаёт места. Немного водки – и минут через десять он был бы дома. Ладно водки – хотя бы глоток пива, хоть чуть-чуть.

Из последних сил Мореухов идет домой. Ему кажется, там старая тахта не даст ему погрузиться в темную воду.

Я доберусь до дома, говорит он себе, доберусь до тех мест, где нет распухших утопленников, нет плывущих мертвяков, туда, где по берегам реки сидят счастливые люди, где плывут корабли с отдыхающими, где играет музыка и никогда не отцветает жасмин.

Словно в Веничкиных «Петушках», ха-ха!

Только я не Веничка, чего уж там. Другое время, другие герои. Я бы не рискнул войти в электричку, заговорить со сфинксом, устроить революцию.

Правда, я не размениваюсь на ангелов – я говорю с Богом напрямую.

Я знаю: ангелы обманывают.

Любой фильм нуар рассказывает нам эту историю.

Ему кажется, она в самом деле похожа на ангела. Странный ангел с азиатским разрезом глаз, похожий на Мэгги Чун. Подошла на улице, спросила: хочешь выпить? – а потом взяла за руку, посадила на скамейку, протянула бутылку «Туборга». Ангел-хранитель, не иначе.

Хотя откуда у русского православного человека азиатский ангел-хранитель? Наверное, думает Мореухов, я умираю, и это – мой предсмертный бред.

Легким движением руки она отвинчивает крышку. Да, конечно, предсмертный бред – пиво не водка, крышку не отвинтишь. А может, это такая водка? Водка «Туборг»? Ну-ка – нет, все-таки пиво, а теперь еще глоток, и еще.

По опыту Мореухов знает: у него есть пять минут, потом снова накроет, утащит, затянет. У него есть пять минут, но кажется – впереди вся жизнь.

И он говорит что-то смешное, увлекательное, а девушка улыбается, улыбается чуть-чуть грустно. В самом деле, наверное, странно выглядит этот худой немолодой мужчина в рваной куртке, с выбитым передним зубом и опухшим лицом. Размахивая пустой бутылкой, он рассказывает, как десять лет назад участвовал в выставках, говорит, что у него умер отец, а мать всю жизнь работала редактором, а на самом деле она – поэт, настоящий поэт, без бля, вот сейчас я стишок прочитаю, любимый, – и тут он замолкает, не может вспомнить, а девушка нагибается к нему и целует. От него пахнет потом, мочой, перегаром, гнилыми зубами и нестиранной одеждой. Она целует его, а потом говорит *увидимся*, поднимается и уходит прочь.

Мореухов вскакивает, делает два шага следом, останавливается и начинает блевать.

Иногда ему кажется: если блевать долго – можно очиститься, можно выbleвать всю свою жизнь.

Выbleвать надежду на славу, желание славы, веру в слово, Веру, Галю, Надю, Любу, Соню, портвейн на канализационном люке, пиво из банки, водку из горла.

Выbleвать седеющего тридцатилетнего мужчину с плохими зубами, двадцатипятилетнего с мешками под глазами, двадцатилетнего с надеждой на будущее, выbleвать подростка, сжимающего свой член, словно рукоять пистолета (пару раз передерни затвор и стреляй мутной струей, неслучившимися детьми, несбывшейся любовью), выbleвать мальчика без шпаги, выbleвать младенца, скрюченный зародыш, отцовское семя и материнскую клетку, слияние и поглощение.

Выbleвать, забыть, очиститься.

Мореухов делает еще шаг, падает на колени в талый снег.

Господи, молит он, Господи, услышь меня. Вот я стою пред Тобою, весь Твой, в гнилом московском сугробе, пьяный, больной, старый. Господи, дай мне силы, услышь меня, о Господи, если уж Ты поставил меня здесь на колени, да будет на то Твоя воля, и, значит, Ты слышишь меня, здесь, среди гула московской улицы, рева машин, шума людских голосов. Мне кажется, я сдохну сейчас, Господи, но я хочу, чтобы Ты знал: я благодарен Тебе, я благодарен за шум ангельских крыл, за морозный воздух, за первый глоток, за синее небо, за черные ветви, за всех женщин, что у меня были, за кино и музыку, за Димона и Виталика, за жизнь, которую я прожил, за смерть, которую жду. Забери меня отсюда, Господи, если не хочешь научить меня жить в этом мире! Прекрати, блядь, все это немедленно!

Смотрите: вот он стоит на коленях в сугробе, трясется, призывает смерть, вовсе не собирается умирать.

22. Завтрак потом

– Ты уж извини, – сказала Маша, – я тебе подарка не приготовила. Я просто не знаю, что дарить. Да и глупо это – на твои же деньги.

Они лежали в кровати лицом друг к другу, накрывшись одним одеялом, как всегда. Маша свернулась калачиком, и только исхудавшая рука сжимала плечо Никиты. Из-под одеяла виднелся нос, глаза и взлохмаченные со сна волосы.

– Ну и ладно, – сказал Никита, – мне главное – ты со мной.

– Послушай, – сказала Маша, – хочешь, давай чего-нибудь придумаем. Заскочим в «Мегу», куда-нибудь еще, купим какую-нибудь красивую рубашку...

– Милая, – сказал Никита, – ты абсолютно права. Зачем мне еще одна рубашка – к тому же на собственный день рождения? Давай что-нибудь придумаем, чтобы из дома не выходить.

– Давай, – сказала Маша. – Хочешь, я тебе завтрак приготовлю. Обычно ты мне готовишь, а сегодня я тебе.

– Не, – сказал Никита, – завтрак потом. Сделай мне лучше минет.

Минет – это была тема, специальная такая семейная тема. По молодости Никита был совсем равнодушен к оральному сексу, но вот восемь лет назад их крымский роман с Машей почти что начался с минета – буквально в первую ночь. Никита был очень впечатлен. А через несколько лет Маша вдруг сказала, что не любит оральный секс и, кроме еды, ничего себе в рот засовывать не собирается. Как это так, обиделся Никита, раньше я был хорош, а теперь, когда мы живем вместе, – нет? Ладно бы ты никогда не брала в рот, так нет же, я отлично помню, и у тебя хорошо получалось – что же отказываешься? Маша отвечала непробиваемым: *нравилось – разонравилось*. После таких разговоров они долго дулись друг на друга.

Сейчас Никите кажется, он отлично придумал. Ведь что такое минет? Конечно, не удовольствие, какое еще удовольствие? Нет, это способ, которым женщина говорит мужчине: видишь, я готова безответно делать тебе приятное! Не рассчитывая, скажем, на собственный оргазм, да и вообще – на свое удовольствие. И в этом смысле минет как подарок – великолепная идея. И мне хорошо, и Маше есть что подарить. Вообще супруги должны делать друг другу только такие вот сексуальные подарки. То, на что чаще раза в год никто и не согласен. Надо бы как-то расширить этот принцип до сотрудников и родителей, только не ясно как.

Никита уже сам не рад, что предложил Маше такой подарок. Он лежит на спине, взлохмаченная голова двигается где-то у него в паху. Удовольствия никакого, тем более что Маша начинает уставать, движения замедляются, а до кульминации еще далеко. Никита закрывает глаза, кладет руки Маше на затылок, помогает найти верный ритм, сам двигает бедрами, но все равно ничего не выходит.

Вспомни, как вы трахались в Крыму, уговаривает он себя, должны же за восемь лет сохранились хоть какие-нибудь воспоминания, от которых ты можешь кончить? Ведь когда мы познакомились, Машка была совсем другой! Красивая, молодая, энергичная, готовая на все – плавать так плавать, на гору так на гору, трахаться так трахаться! Какая у меня была чудесная женщина – и куда она делась? А я ведь хороший муж! Даже трахался на стороне всего ничего, несколько раз. Вот две недели назад Дашу отшил. Как тогда меня в магазине над этими йогуртами торкнуло – так все, как отрезало. Позвонил ей сам, сказал: *Нам лучше больше не видеться* – и номер в «игнор» вбил. И сам ни разу не позвонил, вот!

А все-таки – как с ней было хорошо трахаться! Он вспоминает, как влага стекала ручейками по коже, как собиралась лужицей на животе, каплями росы сверкала в коротко подстриженных волосах... а потом приходил звук, глубокий, глухой, утробный, вот так, да, вот так! –

и тут Никита кончает, резко и неожиданно, вцепившись Маше в волосы. Во рту его – полузабытый серебряный вкус Дашиных поцелуев.

– Спасибо, – говорит он, и Маша вскакивает, бежит к ванной, но начинает блевать уже на пороге. – Слушай, извини, – говорит Никита, а Маша стоит, согнувшись, выпирает позвоночник, струйка течет изо рта. – Мне в самом деле *неудобно*, – говорит Никита, и тогда Маша выпрямляется и кричит:

– Что значит – неудобно?

Он ведь прекрасно знает, как она ненавидит совать в рот всякую мерзость, но специально заставил, потому что, конечно, да, разумеется, он не хочет трахать ее как нормальную женщину, куда положено, и она не в обиде, нет, кому же захочется, если женщина даже залететь не может, она уже не женщина, конечно, вообще не человек, только рот от нее и остается, спасибо еще, что не жопа, но это, видимо, будет подарок на Новый год, *да, милый, на Новый год у нас будет анальный секс, я угадала?* – и Маша стоит, держась за дверной косяк, плачет и кричит:

– Нет, я понимаю, если женщина залететь не может – кому нужна ее пизда?

Ну вот, думает Никита. Нахрена мне сдался этот минет? А Маша, оказывается, все еще переживает, что не забеременела, надо будет с ней поговорить потом, когда успокоится. Как-то я эту историю упустил из виду.

Да, выступил на свой день рождения, ничего не скажешь.

Но Маша уже не кричит, а оседает на пол и начинает тихо, на одной ноте подвывать – и Никита слышит: вой поднимается из самой ее глубины, из той самой глубины, где у Даши спят утробные звуки оргазма. Он подбегает к Маше, успев подумать: *Кто живет в Дашином теле? Кто живет в теле моей жены?* – и тут наконец поднимает Машу на руки, несет в душ, включает теплую воду и начинает нежно мыть, а когда она перестает плакать, нагибается и целует в губы, пахнувшие отчаянием, спермой, рвотой.

23. Нам хватает

Известно, что дети не должны умирать раньше родителей. Василий Михайлович Мельников сам себе говорит: младшие братья не должны умирать раньше старших.

Когда Сашка был мальчишкой, я дрался за него во дворе. Когда я женился на Светке, он был моим свидетелем на свадьбе. Когда у меня родился Никита, Сашка подарил нам брезентовую палатку, чтобы мы всей семьей ходили в походы. *Вместе с малышом.*

Когда он умер, я стоял на кладбище, и снег падал в черный провал могилы. Мы так и замерли тремя группами: я с Никитой, Сашкина жена с его дочкой, Лёлька с моим сыном.

Лёлька-Лёлька, ох, как она постарела, узнал с трудом. А уж как я любил ее когда-то! А ее Сашка – худой такой, болеет, что ли? Вроде совсем на меня не похож, не узнал бы при встрече. Да я и видел его всего несколько раз – специально подходил к школе посмотреть. Толком и не разглядел – далеко было. Тогда показалось – похож на меня, сейчас уже и не знаю.

Я всегда думал – у меня есть время все исправить. Позвонить младшему сыну, помириться с младшим братом. А времени осталось – только горсть мерзлой земли на гроб вместо слов примирения, вместо сожалений.

Младшие братья не должны умирать раньше старших.

Когда он уходил в армию, я не пришел его провожать. Когда он женился на Тане, я не был на их свадьбе. Когда у него родилась Эля, я поздравил его по телефону.

Да, сейчас даже трудно представить, что это были за годы. Испытания, полигоны, споры до утра, самиздат, стихи, песни, диссертация, институт, Лёлька. С Никитой, со Светкой и ее родителями жили впятером в двухкомнатной квартире, всей нашей группой спорили на кухне вдесятером, бродили вдвоем с Лёлей по осеннему городу, вызванивали из телефонов-автоматов пустые квартиры друзей, целовались в Нескучном саду.

Все время заняты были, скучать не приходилось – вот и на Сашку не хватало времени. Да мне и неловко было, если честно.

Но я порадовался, когда он женился на Таньке, честное слово! Если б не командировка, обязательно был бы у них свидетелем. А когда Элька родилась – ну, можно сказать, у меня было много работы, тем более это всегда правда, но на самом деле просто Лёлька приехала из Крыма, такая загоревшая, такая красивая... меня перемякнуло тогда на целый месяц. Ну, потом я Сашку поздравил, конечно. Подарок даже какой-то принес, не помню какой.

Вот как получилось: когда у него родилась дочь, я гулял со своей любовницей, а когда у моей любовницы родился сын, Сашка их забирал из роддома.

После этого Танька и ушла от него. С тех пор мы с ним не разговаривали.

Теперь уже и не поговорим. Разве что я к нему присоединюсь, *там*, после смерти. Он ведь верующим стал еще в семидесятых, мне отец говорил. Я-то глупый был, все спорил, называл религию мракобесием, науку отстаивал.

Я всю жизнь на науку потратил – и что? Разве она помогла мне поговорить с младшим братом? Разве пообещала новую встречу и вечную жизнь?

Ученые не умеют разговаривать с умершими, да и в церкви этому не учат. Отец рассказывал, когда-то маленьким он был на спиритическом сеансе. Блюдечко, круглый стол, все взялись за руки, главное – круг не размыкать... какая-то пионерская зорька. Вызывали, кажется, дух Наполеона – а зачем? Что мне скажет Наполеон, что я скажу ему?

Вот с Сашкой я бы поговорил.

Впрочем, куда мне говорить с мертвыми, я и с живыми не умею.

Как раз сейчас сидим мы на кухне со Светкой, Никита к нам в гости пришел. Пьем втроем чай, вроде и разговариваем – да все не о том, все о политике, о новостях. Украина, Ющенко, Янукович, Тимошенко, Путин. Свобода слова, не то что тридцать лет назад, когда я на этой

самой кухне накрывал подушкой телефон. Кухня почти не изменилась, разве что микроволновку купили, да еще недавно Никита новый холодильник подарил.

Никита теперь богатый, бизнесмен – предприниматель. Я диссертацию не защитил, так надеялся, что хотя бы сын не оплошает, но, видать, не судьба. В бизнесе нет диссертаций, я знаю.

Светка говорит, постарел наш мальчик. Мешки под глазами, двойной подбородок, работает, наверное, много. Она не понимает – зачем? Вот мы с ней живем на триста долларов в месяц, и нам хватает, а Никита с Машей тоже вдвоем живут, но тратят какие-то чудовищные деньги. Понятно, молодые еще, в ресторан сходить, в отпуск съездить, машина опять же – ну все равно, пусть тысяча, ну, пусть три. А он как-то сказал: в прошлом месяце я заработал десять тысяч. Светка еще переспросила – рублей? Десять тысяч долларов, куда же деть столько денег? И главное, не откладывают ничего, все тратят, все проедают.

Честно говоря, хотелось бы внуков. Маше скоро сорок, а детей все нет. Светка однажды спросила – не собираетесь, мол? – так Никита разозлился, закричал: *Мама, когда соберемся, ты узнаешь первая, не задавай дурацких вопросов, прошу тебя!*

Вот поэтому и говорим о политике, чего уж там. Про детей не спрашивай, про деньги не говори. Может, водки предложить? Под водку все-таки разговор лучше идет. А то сидим как неродные. Как дела? Хорошо. А у вас? И у нас. Вот и весь сказ. А так накатили бы грамм по пятьдесят, может, и разговорились бы.

А то выйдет как с Сашкой – захочешь поговорить, да не с кем уже.

Никита смотрит на родителей и думает: что мы сидим как неродные? Может, рассказать им что-нибудь? Так им же неинтересно. Скажу я, например, что получил новый заказ, двадцать пять аквариумов для начала, потом больше, если дело хорошо пойдет. Ну и что? Папа скажет: *Молодец, сынок!* Мама подумает: *Зачем тебе столько денег?* Вот и весь разговор. А я горжусь тем, что я делаю! Отец не защитил диссертацию, а я сделал удачный бизнес! Это и значит: я – хороший сын и достойный наследник. Жалко только, я никак не могу объяснить это родителям.

Про работу я не могу, а про Машу – что говорить? Начнут спрашивать, не думаем ли мы насчет детей, – ну, мы думали, целых два года как заведенные. С врачами, клиниками – денег уйма, времени уйма, ноль результата. Больше Маша об этом не заговаривает – ну и слава богу, наверное. Об этом я им, правда, тоже никогда не рассказывал – Машка просила, да и вообще – тема такая, сложная.

Выходит, все темы у нас сложные. Про дядю Сашу тоже не спросишь – как так получилось: братья – а не разговаривали тридцать лет? Про брата моего тоже лучше не спрашивать: если бы не дядя Саша, я бы вообще не знал, что у меня есть брат, папа мне о нем даже ни разу не говорил. Я маму спросил однажды, она плечами пожала, ответила: Я его никогда не видела, да и Вася тоже не видел.

Вот и получается: родителей ни о чем не спросишь, ничего не расскажешь. Надо было дядю Сашу спрашивать, да теперь поздно уже.

Вот так они сидят молча, каждый со своими вопросами, а может, и нет, может, рассказывают анекдоты, говорят о политике, смотрят Петросяна, может, даже обсуждают «дядю Сашу», царство, говорят, ему небесное, или, напротив, совсем не помнят ни о нем, ни обо мне, и нет им дела, что на другом конце Москвы я избитый лежу в мокром снегу парковки, плачу от жалости к себе, спрашиваю снова и снова... Зачем им всем столько денег? Зачем столько денег Никите? Что значит «нам хватает»? Сколько денег хватает для жизни мне? Сколько бы хватало, если бы я не пил? Похож ли Никита на своего отца? Похож ли на своего отца я? Кто, в конце концов, мой отец – Василий Михайлович или дядя Саша? Что, в конце концов, случилось с ними тридцать с лишним лет назад?

24. 1971 год. Согласно долгосрочным прогнозам

Билет на самолет может казаться голубой мечтой только во сне. Юг и Запад не для меня, они – для курортников с большими деньгами. Мои края – Север и Восток, да не города, а тайга, тундра и море. Большие города все одинаковы. Центральный проспект сталинской архитектуры да новые районы типа наших Черемушек. На домах лозунги и призывы: «Планы партии – планы народа», «Слава КПСС!», «Храните деньги в сберегательной кассе».

Нет, ребята, мне ехать на Север и Восток – работать, а не путешествовать. Два года после армии – то в одной экспедиции, то в другой. Только этим летом я на свою беду остался в Москве – и вот теперь «на Север, на Север!» стучит мое сердце, как три сестры со своим «в Москву, в Москву!».

Мне в Москве нечего делать. Этот город опустел для меня.

Вы спросите – как опустел? Разве не живет в этом городе шесть миллионов советских граждан, честных трудяг, рабочих, ученых, студентов? Да, конечно, бывают отдельные недостатки, встречаются рвачи и хапуги, чинуши всех мастей – но разве мало в столице нашей Родины хороших людей?

Много. Будь у меня чуть побольше времени, я бы написал список, фамилий пятьдесят в алфавитном порядке, но сегодня что-то нет настроения, да и не припомню всех.

Зато помню во всех деталях, как привел Лёльку знакомиться с Васькой. На Лёльке была короткая юбка, круглые колени торчат, ножки трогательные, туфельки на шпильках, все на нее оборачивались, когда мы шли по улице. А Васька – что Васька? Мятые брюки да потная ковбойка. Что поделалась – июль, жара.

Светка с Никиткой были на даче, Вася вел холостую жизнь в пустой отдельной квартире. Я сам ему позвонил, сказал: Слушай, старик, можно я к тебе в гости с одной чувихой приду? Она стихи пишет. Он сразу все понял, сказал: Железно, Сашок.

В самом деле, не под боком же у родителей нам с Лёлькой?

Нам с Лёлькой – что? Нет такого слова. Есть похабный глагол, есть медицинский термин, а слова – нет. Любить друг друга? Но любить нас учат с детского сада: маму, папу, Партию, Советский народ и Родину. Васька еще застал времена, когда больше всех положено было любить Сталина.

Так что у нас с Лёлькой – не любовь.

Разве подберешь слово, когда она посмотрит на тебя, светлую прядку со лба смахнет, засмеется тихонько – а ты чувствуешь: все, приплыли. Словно в груди что-то взрывается каждый раз, вот честное слово.

Васька вытащил магнитофон, достал бобины, долго возился в углу, а потом запел Высоцкий, и Окуджава, и Клячкин – и мы стали зачем-то пить водку, и было так хорошо, Васька шутил, Лёлька смеялась, и я был счастлив – ведь это же мой старший брат, моя любимая девушка, будущая невеста, даже мать моих будущих детей, согласно долгосрочным прогнозам!

Наверное, последний раз я был так счастлив.

Мы пили водку, и Лёлька пила тоже и смеялась, а потом Васька поставил пленку с музыкой из этого французского фильма с Жан-Луи Трентиньяном и Анук Эме, и они пошли танцевать, прямо на кухне, и это было так красиво и так здорово, что мой брат танцует с моей девушкой, и я выпил еще водки, а потом мы пошли шататься по Москве и где-то в ресторане добыли еще водки, а Лёлька читала свои стихи, и мне страшно нравилось. А потом, уже дома, меня вдруг словно затянуло в водоворот, я сказал: Ребята, я сейчас – и вырубился.

Нет, ребята, вы поймите – работать на Севере и не уметь пить водку нельзя. Уж сколько было на моей памяти сабантуев – бывалые мужики валились с ног, а я все продолжал. Бой в Крыму, все в дыму. А в этот раз сплоховал. Не знаю даже, как получилось.

Вот мы приучены не верить в Бога или там в дьявола, а верить только в науку и технику. Это, конечно, правильно. Наука и техника достигли невиданного прогресса. Это здорово. И я, хотя в отличие от Васьки университетов не кончал, насчет прогресса – это я подтверждаю. Но все-таки, думаю, есть какая-то сила, которая человеку помогает. Поддерживает его. Ученые просто ее не открыли, но еще откроют. Ну а предки наши называли ее ангелом-хранителем.

И вот тем вечером ангел-хранитель покинул меня.

Потому что когда я утром проснулся, было мне так тошно, как никогда еще не было. Лежал я у Васьки на кухне, одетый, на раскладушке, голова у меня раскалывалась, и по всему выходило, что вместо ночи любви случилась безобразная пьянка и Лёльке мне лучше на глаза не показываться.

Кое-как я поднялся, попил воды из-под крана, полез в пустой холодильник, потом снял рубашку, зашел в ванную, умылся до пояса, вытерся, покрякал довольно, подумал, что Ваську не буду будить, и вышел в прихожую. И когда нагнулся кеды зашнуровать – увидел Лёлькины туфли.

Они лежали в коридоре, словно тоже собирались куда-то идти, но, как и я, не справились, упали. Беззащитно лежали, левый – на левом боку, правый – на правом, в двух метрах друг от друга. Второй – прямо на пороге приоткрытой двери в Васькину комнату.

Я еще подумал, братцы: куда же она там легла? – вот какой я был дурак, не скажешь иначе, – а потом подошел к двери и заглянул.

Она была очень красивая, Лёлька. Даже во сне, со смазанной косметикой. Она лежала на спине, свесив левую руку до самого пола, а Васькина голова лежала у нее на груди, так они и уснули, даже не прикрывшись, и правой рукой она обнимала его за плечи.

Вот так все и кончилось.

Лёлька потом позвонила мне, но я трубку повесил. Ваське хотел сначала морду набить – хоть он и старший, но я всегда был сильнее, да и в армии накачался, не в пример ему, физику-лирику. Даже как-то днем заявился к проходной его института, позвонил от вахтера, спускайся, мол, – и стал ждать. Прямо так и представил – сходит он с лестницы, а я – хук справа и нокаут! И вижу, бежит он мне навстречу, мятые брюки, потная ковбойка, улыбается во весь рот, и я подумал: что я делать-то буду? Ведь это ж мой брат, мы с ним вместе всю жизнь, что за дурь, в самом деле, – в морду.

Я ему и говорю: Да как ты мог?

А он отвечает: Старик, ну, оно как-то само вышло.

Я ему говорю: У тебя же Светка, Васька, ты что?

А он отвечает: Все это мещанство, старик, сам же понимаешь.

Я ему говорю: Но ведь я люблю ее!

А он отвечает: Но она-то любит меня.

И тут я замолчал, словно это он пробил мой коронный хук справа. Я даже не стал говорить ему «врешь!», потому что понял: так и есть. Не такая моя Лёлька девушка, чтобы по пьяни в постель мужику валиться.

Моя Лёлька.

Вот написал я «моя Лёлька», и все прямо ёкнуло внутри. Братцы! Не могу я больше, хватит! Хоть на Север, хоть на Восток, не могу! А тут еще мама спрашивает:

– Что это, Сашенька, твоей Лёли давно не видно? – что я ей ответить должен?

Говорю:

– Разошлись.

– Ах, – говорит мама, – как жаль. Какая хорошая девушка.

И стало мне страшно за себя. Я почувствовал, что физически распадаюсь на части. Нервы, как струны поломанного инструмента, каждый в отдельности. Кажется, что сейчас что-

то случится, и я начну кричать, звать на помощь кого-нибудь взрослого, доброго. И нет у меня больше сил выдержать эту жизнь. Пора сдаваться.

Наверно, я сейчас занимаюсь типичным интеллигентским самокопанием, выдрючиванием. Чем шататься по московским улицам, пошел бы я лучше домой, включил бы телевизор, посмотрел бы с родителями КВН, «Тринадцать стульев», «Голубой огонек», «Кинопанораму», «На полях страны» или «Спорт». Все бесплатно, все в комнате, смотри, отдыхай.

А я постоял в очереди у табачного киоска, взял себе «Приму», постоял в очереди у газетного, купил «Комсомолку» – и вижу, от магазина полуфабрикатов идет девушка, девочка еще совсем, тащит сумку тяжелую – видать, в овощной зашла сначала, купила картошку, а потом уже молока в гастрономе два пакета. Миленькая такая девушка, нерусская, на вьетнамку похожа – наверное, в самом деле из Вьетнама. К нам много вьетнамцев сейчас приезжают, отдохнуть там, поучиться, подготовиться к дальнейшей борьбе с американским агрессором.

И я так «Приму» закуриваю, словно это «Голуаз», и говорю ей:

– Девушка, а сумку не помочь поднести?

А она улыбается и отвечает без всякого акцента:

– Ой, спасибо, помогите, конечно.

Вот так они и встретились, мама и папа. А через десять месяцев на свет появилась я.

25. Лягушка в хлорированной воде

Что-то выплывает из зыбкой полутьмы, из алкогольного забытья, какие-то очертания, контуры, силуэты... Маленькая кухня, тесноватая, но аккуратная. Покрытый клеенкой стол, чайник на плите, приправы в баночках, округлый холодильник... две девушки сидят друг напротив друга, чайные чашки в руках, легкие облачка над чашками.

У одной – азиатское лицо, широкие скулы, узкие глаза... мой недавний ангел-хранитель с бутылкой «Туборга»? Нет, с чего это я взял, конечно, нет. Это Аня, она же – Эльвира, моя сводная сестра.

Это – ее кухня, напротив – Вика, ее подруга, Гоша спит в комнате, девушки пьют чай.

Я представляю себе Вику – высокую, рыжеволосую, большегрудую, с крупными руками, с тонкими пальцами в серебряных кольцах. Она старше Ани лет на пять или, может быть, на десять – Аня никогда не спрашивала.

Они познакомились полгода назад, тоже в магазине, как с Андреем. Вика покупала туфли, а через несколько дней зашла поблагодарить и почему-то предложила подвезти Аню до метро, а тут выяснилось, что они живут рядом, и они вместе поехали за Гошей в детский сад, а потом вместе поднялись к Ане.

И все это – абсолютно трезвые, вот что удивительно!

Потом Аня спрашивала: ты что, со всеми продавщицами знакомишься? Вика отвечала каждый раз по-новому, но всегда загадочно: «Я знала – это будет правильно», «Мне показалось, я должна это сделать», и даже «Наша встреча – это часть какой-то большой и важной истории».

Наверное, это профессиональный навык – напускать туману. Потому что Вика занимается колдовством, викканством. Она даже имя сменила с Марины – на Вику, точь-в-точь как Аня отказалась быть Эльвирой.

И вот они сидят на кухне, пьют чай, Аня рассказывает, как она живет, про разговоры с Зинкой, кино с Андреем, кофе с Мариком, – и Вика говорит:

– А я бы не могла так спать с начальником, ради работы. Для меня секс – сакральный акт, абы с кем нельзя.

– Секс – это просто секс, – отвечает Аня. – Иногда приятно, иногда не очень. Как водки выпить. От человека зависит. А тут – что я могла поделать? Не увольняться же мне. Да и на новой работе вряд ли лучше будет.

– Ты очень сильная, – говорит Вика задумчиво.

– Никакая я не сильная, – отвечает Аня, – я просто пловец. Всю жизнь выплываю.

– Женщины всегда выплывают, – говорит Вика. – Мы, женщины, в родстве с океаном.

– Нет, – качает головой Аня, – я выплываю не в океане, а в грязной луже. В лучшем случае – в нечищеном хлорированном бассейне. Знаешь, таком грязном, что при каждом вдохе чужие волосы в рот лезут. Такой уж мне, видать, достался океан.

– Знаешь сказку про лягушку, которая сбивала молоко в сметану?

Аня кивает, и Вика говорит:

– Мне кажется, ты как раз такая лягушка.

Аня хочет сказать, что ей попало недостаточно жирное молоко: тонуть она не тонет, но и сметана никак не взбивается. Вообще не молоко, грязная лужа с хлорированной водой и чужими волосами. Аня хочет об этом сказать, но вместо этого говорит: Хочешь еще чаю? – и Вика все понимает, берет чашку, отпивает и рассказывает, что недавно была на специальном семинаре, посвященном московскому метро.

– Ты же занимаешься всякой мистикой, – удивляется Аня, – зачем тебе метро?

Московское метро, объясняет Вика, – мистическая вещь. Вот в парижском, лондонском или нью-йоркском метро вообще нет кольцевой линии. А круг – это древнейший сакральный

символ. Отсюда все деревенские хороводы, круглый стол на спиритическом сеансе или пионеры вокруг костра. Неслучайно во всех этих практиках главный запрет – размыкание круга.

– Ну и при чем тут метро?

– Кольцевая линия, – говорит Вика. – Двенадцать станций, по числу знаков зодиака. И тоже идут по кругу, за Рыбами опять Овен и так далее.

– А тут обещают на кольце еще одну станцию, – говорит Аня, – и где будет твой зодиак?

– Это специальный знак, Змееносец, – отвечает Вика, – я тебе сейчас объясню.

Она достает ручку и блокнот из сумочки (настоящая кожа, не хочется даже гадать, сколько стоит), рисует какие-то линии, символы, числа.

– Для меня здесь слишком много цифр, – улыбается Аня.

Ей просто не слишком интересно про метро, знаки зодиака и астрологию. Она дружит с Викой, но считает, что та занимается ерундой.

Правда, ерундой можно заработать куда больше, чем стоя за прилавком. Но к этому, выходит, нужно иметь призвание.

– Это мужской миф, что женщины ничего не понимают в цифрах, – отвечает Вика. – Наша жизнь подчинена цифрам. Девять месяцев – беременность, двадцать восемь дней – месячный цикл. Наша жизнь подчинена цифрам – и боли. Месячной боли, дефлорационной, боли при родах.

– Моя жизнь, – отвечает Аня, – подчинена другим цифрам. Триста за квартиру. Двести пятьдесят на еду. Пятьдесят или там сто – на все остальное. Вот и вся арифметика. А никакой де-флора-ционной боли я не помню. И месячные у меня вполне безболезненные.

Анины цифры вряд ли впечатлят Вику: наверное, столько она зарабатывает за неделю, если не за три дня. Аня знает: когда-то, в девяностые, у Вики даже был свой бизнес – она говорит, консалтинговый. В девяносто восьмом все рухнуло, остались только старые связи. Их, судя по всему, Вике хватает до сих пор.

Занималась Вика магией: принимала на дому клиентов, предсказывала будущее, объясняла прошлое.

Напускала туману, наводила тень на плетень, гадала на кофейной гуще – и вот за это брала деньги.

Странная, наверное, работа: разговаривать с незнакомыми людьми и находить в каждом что-то интересное – от этого интересного, говорила Вика, и выстраивается узор предсказания.

Находить интересное – это не для Ани. С женщинами она бы еще справилась, а вот мужчины по большому счету все на одно лицо.

Да и не верит Аня в магию и колдовство.

– Вот скажи, – говорит она, – а ты можешь не предсказать будущее, а его изменить?

– Предсказать как раз и значит изменить, – отвечает Вика. – Древние говорили: предупредить – значит, вооружен.

– Да нет, – пожимает плечами Аня, – я вот часто наперед знаю, что случится. Когда из «ИКЕИ» увольнялась, я же понимала, что опять придется на работе под кого-нибудь ложиться, но все равно уволилась, и вот теперь этот... Марик.

Теперь каждый раз, когда она произносит это имя, ей становится противно – будто взяла в руки слизняка.

– Может, если бы ты понимала что-нибудь другое, никакого Марика бы и не было. Был бы он по-прежнему Марк Борисович, без всякого кофе и прочего.

– Не верю я в это, – качает головой Аня. – Ты лучше скажи: ты можешь сделать, чтобы он исчез?

– Зачем? – говорит Вика. – Вместо него кто-нибудь другой появится. Ты же сама говорила, что мужчины в твоей жизни полностью взаимозаменяемы. Не будет Марика – будет еще кто-то, с кем тебе придется спать.

– Может, он не такой противный будет, – вздыхает Аня. – Ты же знаешь, я вообще-то к этому делу спокойно отношусь. Надо спать с начальством – ну, значит, надо. Ты мне Марика убери, а кто другой будет – ну, там и посмотрим.

– Послушай, – серьезно говорит Вика, – я не люблю лезть в дела своих друзей. Я не очень умею вмешиваться по мелочам – магические воздействия всегда приводят к большим изменениям.

– Понятно даже каким, – хмыкает Аня, – выгонят с работы.

– Нет, с работы не выгонят, – отвечает Вика, – тут история не про работу, а про мужчин. Ты мне скажи, у вас в роду сколько поколений девочки без отца росли?

– Ну, про меня ты знаешь, а мама своего отца вовсе не знала. Только отчество Олеговна от него и осталось, бабушка почти ничего про него не рассказывала. А прадед... прадед, кажется, умер рано, в начале тридцатых. А почему ты спросила?

– Чтобы понять, – отвечает Вика.

Она сидит молча, задумчиво глядя на струйки пара над остывающим чаем. Гоша в соседней комнате шумно вздыхает во сне, и у Ани сжимается сердце.

Она уверена: у нее лучший сын на свете. Даже икейную затычку из розетки два года назад вынул за полчаса! И в детском саду он громче всех: Аня еще на лестнице слышит знакомый голос.

Все-таки повезло ей с сыном.

– Ты знаешь, – вдруг говорит Вика, – в книгах записано: девка родит девку, эта вторая принесет третью, а родившейся от третьей мальчик сделается по возрасту колдуном. Так вот это – про твоего Гошу.

Аня качает головой, смотрит так, словно Вика – это Гоша, сказавший какую-то уморительную чушь.

– Вика, – говорит она, улыбаясь, – ты хоть поняла, что сказала? У любого мальчика маму родила другая мама, а ту – третья. Тебя послушать, все мужчины – колдуны. Раньше ты говорила, что все женщины – ведьмы.

Вика вздыхает:

– Девка – это незамужняя женщина.

– Ну, у мамы-то муж был, – отвечает Аня, и в этот момент – звонок в дверь.

Между прочим, полдвенадцатого, кого это принесло? Говорят: милиция, откройте.

Ну вот же, думает Аня, опять старая карга ментов вызвала, ну что ты будешь делать? Если они мне Гошу разбудили – убью суку!

Щелкает замок, на пороге – два молодых мента с автоматами, в полной выкладке.

– И что? – говорит Аня.

– Был сигнал, – говорит один, щуплый и белобрысый. – Вы, типа, шумите.

– И громко шумим? – спрашивает Аня. – На улице, видать, слышно? Даже автомобильную сигнализацию заглушаем, да?

– Девушка, – говорит второй, красивый широкоплечий брюнет, – с автомобильной сигнализацией мы ничего поделать не можем. Не машину же нам эвакуировать. А на вас сигнал поступил, нам реагировать положено. Документы на квартиру предъявите, пожалуйста.

Документов на квартиру у Ани, разумеется, нет, никакого договора она с хозяйкой не подписывала, слава богу, московская прописка у нее есть.

– С сигнализацией не можете, а со мной можете? – Аня расходится все больше. – Ну, сейчас посмотрим! Если вы мне ребенка разбудили – всё!

Аня еще не успела придумать, что – всё, но тут выходит Вика, улыбается и глубоким грудным голосом говорит:

– Здравствуйте, мальчики.

Менты сразу кивают, улыбаются смущенно.

– Вы, мальчики, сейчас вниз спуститесь, позвоните в квартиру пятнадцать и объясните, что бывает за ложный вызов милиции. После этого вернетесь к себе в отделение и напишете рапорт о том, что на сигналы из квартиры пятнадцать не следует обращать внимания. Там живет больная женщина, она в самом деле слышит шум, но к нашему миру этот шум не имеет отношения. А тебе я еще скажу, – кивает Вика brunetu, – ты с подружкой своей поаккуратней, а то где-то через год младенца нянчить будешь.

– Откуда вы знаете? – потерянно спрашивает мент.

Вика улыбается:

– Какая разница – откуда? Просто знаю.

Когда шаги ментов стихают, Аня садится на пол прямо тут, в прихожей, и начинает смеяться:

– Ну ты даешь! Как ты про подругу-то ему вставила! Он теперь два гондона надевать будет! А если бы у него подруги не было? Что тогда?

– Ну, – отвечает Вика, – как ее могло не быть, если она есть? Не смей меня, честное слово.

Девушки возвращаются на кухню, Гоша по-прежнему посапывает в кроватке.

– Черт с ним, с Мариком, – говорит Аня. – Ты вот мне лучше эту старую перечницу убери куда подальше.

– Ну знаешь, – смеется в ответ Вика, – я думаю, это ты вполне сама можешь. Нужно только сильно захотеть.

– Я ее разве что пристрелить могу, – отвечает Аня, – жалко, не из чего. А то бы я пиф-паф – и нет старой ведьмы.

– Никакая она не ведьма, – обижается Вика. – Обычная шизофреничка, ничего особенного.

– Конечно, не ведьма, – усмехается Аня, – чтобы родиться ведьмой, надо чтобы парень зачал парня, этот второй зачал третьего, а вот девочка, зачатая третьим!.. – И Аня многозначительно поднимает указательный палец.

– Тебе все шуточки, – улыбается Вика. – На самом деле ведьмой становятся по-другому. Есть несколько способов. Во-первых, можно родиться в правильной семье, в семье колдунов.

– Тех, которые от трех девок?

– Неважно. Но родиться – недостаточно. Нужно, чтобы колдун перед смертью отдал тебе свою силу.

– А колдун отдаст?

– Колдун хочет отдать свою силу, – говорит Вика. – Если не отдаст до смерти – он страшно мучается. А если его дети силу не возьмут, на них будет проклятие. И на них, и на их детях, пока эта сила в кого-нибудь снова не войдет.

– Если бы я во все это верила, – говорит Аня, – я бы за Гошиных детей испугалась. А какой другой способ?

– Другой способ – традиционный. Инициация. Тяжелые испытания. Внутреннее пробуждение.

– О, – смеется Аня, – тогда я готова. Тяжелых испытаний в моей жизни было достаточно. Постой как-нибудь две зимы на оптовом рынке.

Вика смеется. Золотой кулон подпрыгивает у нее на груди: солнце в зодиакальном круге, рыжее, как Викины волосы.

26. Запотевшее стекло «тойоты»

Никита часто спрашивает себя: за что любят рыб? Наверное, за то, что они молчат. Молчат всегда. Хранят тайны. Надежней, чем Мидасов тростник. Надежней, чем та ямка – дупло? дырка в стене? – куда в финале “In the Mood for Love” шепчет Тони Люн. Рыбам можно поведать любые секреты.

Незаменимая вещь в бизнесе, я так думаю. Ну, насколько я могу судить, конечно. Я в бизнесе вообще-то не очень понимаю.

Но вот сейчас я представляю себе Никиту в полутемной комнате. Наверное, это часть его офиса. Должно же быть в его офисе место, где хранятся аквариумы с рыбками? Клиенты не забрали, или декорация не готова, или показывать образцы работ... не знаю, короче, зачем ему в офисе рыбки, но вот он стоит посреди аквариумов и разговаривает с рыбами. Буквально как святой Франциск. Но птички хотя бы щебечут, рыбы же, слава богу, немые.

Только шевелят плавниками да открывают рты. Пузырьки поднимаются вверх, и от этого слышен такой как бы шелест. Тихий-тихий. Вот и Никита говорит тихо-тихо, прислонившись лбом к аквариуму с гуппи.

Простые такие рыбки, неприхотливые, разноцветные. Очень популярные у начинающих аквариумистов.

Как же оно случилось, а? – спрашивает Никита своих рыбок.

Я же специально выбрал людное место, демократичное «Азия-кафе», на вывеске – красно-белые инь и ян, официантки в кимоно, народу – что рыб в переполненном аквариуме. С трудом свободный столик нашли, сели, попросили меню. Даша села – и молчит. Я-то думал, она сразу спрашивать начнет, куда я исчез, почему не подходил к телефону, что случилось, – а она сказала «Привет» и замолчала. Сидит, листает меню, оглядывается по сторонам. Я тоже молчу – и смотрю на нее во все глаза.

Я вот так в детстве напротив аквариума любил сидеть. Гуппи – мои первые рыбки были. Неприхотливые, разноцветные. Плавали туда-сюда стайкой, как девочки в весенних платьях. О девочках я, впрочем, тогда не думал. Мне казалось – у меня в аквариуме живой калейдоскоп. Очень мне нравилось.

Девочки в «Азия-кафе» тоже ходят стайками. В цветных весенних платьях. Все-таки первый солнечный день, на мостовой – желтые, оранжевые пятна, из окна хорошо видно. И девочки заходят по трое, по четверо, присаживаются за столики, о чем-то говорят вполголоса. Наверное, думаю я, Даша хотела бы сидеть здесь с подружками, а не с малознакомым лысеющим мужчиной, который то исчезает на месяц, то звонит и просит срочно встретиться. Потому что у него очень важный вопрос, не терпящий отлагательств.

На Даше – белая майка на бретельках и длинная цветная юбка. Она давно не брила голову: подростковые волосы топорщатся, как иглы морского ежа.

Ежей разводят в морских аквариумах. Некоторые их виды относятся к хищникам, поэтому следует избегать помещения в аквариум с анемонами и кораллами неизвестных морских ежей. Живут ежи большими группами, размножаются путем массового нереста. Икра и сперма перемешиваются в воде, а оплодотворенные икринки далеко распространяются в слоях планктона, где и превращаются в личинок.

Даша выбирает суши и кайса-сарада, японский салат из водорослей.

– Говорят, у японцев еда низкокалорийная, – говорит она, – а я как раз худею. Я каждый год зимой вес набираю, а весной – худею. Чтобы летом лучше выглядеть.

Она улыбается Никите, и он тоже заказывает кайса-сарада, хотя совершенно не собирается худеть.

Не всякие водоросли съедобны для рыб. Опытный аквариумист умеет подобрать водоросли так, чтобы они росли в гармонии со всеми обитателями аквариума.

Из какой водоросли сделан кайса-сарада, Никита определить не может.

– А у тебя как дела? – спрашивает Даша.

Она смотрит на Никиту с легким любопытством, как будто они только что познакомились или, наоборот, не виделись много лет, встретились после долгой разлуки и не могут вспомнить друг друга.

– Да нормально дела, – отвечает Никита. – Бизнес развивается, от клиентов отбою нет. Вообще, пока цены на нефть выше пятидесяти долларов, у всех все будет хорошо.

– Здорово, – отвечает Даша, – а меня как раз уволили недели три назад. Сказали, часто опаздываю.

– И что ты теперь будешь делать?

Она пожимает полными плечами:

– Не знаю. Устроюсь куда-нибудь. Или так буду жить.

– А деньги? – спрашивает Никита.

– А что деньги? – отвечает Даша. – Мир не без добрых людей. Надо всего лишь изменить свое сознание так, чтобы деньги сами нашли к тебе дорогу, – и тогда можно не работать. Я считаю, мы все достаточно прекрасны, чтобы жить не для работы, а для себя. В смысле, для своего духовного развития. Как буддийские монахи.

Среди многочисленных видов золотых рыбок существует несколько разновидностей ярко-оранжевого цвета, напоминающего цвет одежд буддийских монахов. Подобно буддизму, золотые рыбки прибыли к нам с Востока: все они – сорта китайского серебристого карася.

У себя в офисе Никита смотрит на танец золотых рыбок в аквариуме и думает, что Даша могла бы брить голову не только в поддержку НБП.

– Я как-то целый год не работала, – продолжает Даша, – снимала квартиру вместе с Леркой. То есть снимала Лерка, а я там просто так жила, чтобы ей было не скучно одной. У Лерки родители богатые, они ей целые хоромы снимали.

– А чего съехала?

– Да мы поссорились. То есть Лерка со мной поссорилась. Из-за парня. Хотя нахрен он был мне не нужен, этот Стас... – Даша задумывается, – или Валера? Не помню даже, как звали. И трахался он фигово.

Многие виды рыб не отличаются моногамией – и это относится как к самцам, так и к самкам. Например, самки многих малавийских рыб, выметав несколько икринок перед одним самцом, дожидаются, когда он их оплодотворит, забирают в рот и продолжают нерест с другим. В свою очередь самцы постоянно оплодотворяют икру от всех самок, которые появляются у них на участке. В отличие от моногамных рыб самцы и самки полигамных видов окрашены по-разному, и эта разница становится еще больше в период нереста.

Не хочет ли природа сказать нам, что полигамия эстетически привлекательней моногамии?

– Ревность – это только еще одна привязанность, – подводит итог Даша. – Истинно мудрый не ревнует.

Если посадить в небольшой аквариум двух самцов-анциструсов, стычки между ними могут привести к гибели одного из них от полученных травм, недоедания и постоянного стресса. Поэтому надо помещать анциструсов в просторный аквариум с многочисленными укрытиями – керамическими трубками, половинками цветочных горшков и так далее. Самцы занимают наиболее привлекательное для них укрытие, покидая его только для кормежки, и быстро возвращаются туда в случае опасности или при появлении конкурентов. Очень любят различные коряги, которые со временем отполировывают до блеска.

Никита представляет себе этого Стаса или Валеру... наверное, Дашин сверстник... тоже молодой, красивый, сильный. А может, наоборот – смешной, глупый, в юношеских прыщах? Интересно, когда Даша с ним трахалась – она кончала так же, как с Никитой? Вообще – как у нее было с другими мужчинами? Может, спросить? Ведь Никита не собирается больше с ней спать, они постараются быть просто друзьями. Хотя какая дружба при такой разнице в возрасте?

– Что значит «так же, как с тобой»? – удивляется Даша. – Со всеми по-разному, конечно. Какой тогда смысл с разными трахаться, если бы со всеми было одинаково? Я ведь даже слово каждый раз новое говорю – ни разу не повторилась, я бы заметила.

Возвращается официантка, приносит суши и салат. У нее плоское азиатское лицо, она изображает японку, хотя на самом деле она бурятка, казашка или вообще татарка. Многие рыбы маскируются под более сильные и влиятельные виды. Разница только в том, что у людей никак не узнаешь, кто будет в топе лет через пятьсот. Могли бы монголы во времена Чингис-хана предполагать, что дикие восточные островитяне покорят мир с помощью риса, рыбы и бытовой электроники куда лучше, чем сами монголы с помощью лошадей и луков?

Приносят счет. Никита расплачивается, Даша улыбается, говорит:

– Спасибо, чудесный ужин.

Они идут к выходу. Если мы друзья, думает Никита, удобно ли предложить денег в долг? Если она временно на мели?

Они выходят на улицу. Даша ежится – пока они ужинали, резко похолодало. Пар идет у нее из рта.

– Ты на машине? – спрашивает она, обернувшись.

Никита кивает.

– Подбросишь меня до Садового? А там я уже до дома поймаю.

Некоторые рыбы путешествуют, присосавшись к представителям своего или другого вида. Наиболее известны рыбы-прилипалы, способные передвигаться на большие расстояния, присосавшись к крупным рыбам с помощью переднего спинного плавника.

Час назад на улице не было свободных мест, и Никита припарковался в соседнем дворе. Теперь его «тойота», втиснутая между двух покрытых снегом «жигулей», блестит антрацитовыми боками, словно бархатисто-черная моллинезия среди бесцветных гуппи. Даша с трудом протискивается в пассажирскую дверь. Усевшись, морщит брови (в левой – маленькое колечко) и начинает тереть испачканную майку.

– У тебя воды нет? – спрашивает она, и Никита протягивает ей бутылку «Аква Минерале». Даша делает большой глоток и брызгает себе на грудь. Никита помнит: так при глажке делала мама, пока не появились утюги с распылителем.

Даша сосредоточенно трет майку, и Никита наконец не выдерживает:

– Дай я тебе помогу.

Вот так оно и случилось, да.

Рыбы семейства пецилиевых – миролюбивые активные рыбки. Самка обычно крупнее самца. Желательно накрывать аквариум с пецилиевыми крышкой, так как самки могут с легкостью выпрыгнуть из воды.

Что выпрыгивает из Даши? Подводное чудовище? Глубоководная рыба? Другая женщина, живущая в темной глубине, словно русалка или ундина?

Даша проводит пальцем по запотевшему стеклу «тойоты». Никита думает: впервые в жизни я внутри аквариума, а не снаружи. И мы здесь – как две рыбы.

– Что это? – спрашивает он.

– Инь и ян, – отвечает Даша, – мужское и женское. Как мы с тобой только что. Я сразу это поняла, когда ты меня в «Азию-кафе» позвал.

Через час Никита стоит перед аквариумом у себя в офисе. Что же случилось, а? – спрашивает он.

Рыбы молчат. Они всегда молчат, на то они и рыбы. Но я представляю себе, как макропод – он же райская рыбка – выныривает из аквариума и отвечает:

– Что случилось? Ничего особенного. Просто на девятом году брака ты завел себе молодую любовницу. Это бывает. Самцы вида *homo sapiens* не отличаются моногамностью.

– Но я же люблю Машу, – говорит Никита. – Ладно там моногамия, но любовь? Как же любовь?

Райская рыбка выбивает хвостом фонтанчик и уходит под воду – на этот раз без единого слова, как и положено рыбе.

27. Как можно не верить в любовь?

Это называется флешбэк. Знакомые наркоманы объясняли: если принимать ЛСД или еще чего, через какое-то время воспоминания о трипе могут вернуться на ровном месте и будут реальной самой реальностью. Раньше у Мореухова не было такого с алкоголем – но сегодня утром вдруг отчетливо вспомнилось.

Идет дождь. Мореухов стоит с двумя девицами, прячутся под одним зонтом, передают друг другу бутылку. Это все – под аккомпанемент капель, отскакивающих от натянутой над головами материи. Судя по прозрачности и отчетливости этого звука, у Мореухова третий-четвертый день запоя.

Как зовут девиц, Мореухов не знает. У той, что повыше, мужская куртка цвета хаки, короткая юбка, мелкими кудряшками завитые волосы. Вторая едва достает Мореухову до плеча, пальтецо расстегнуто – наверное, чтобы подчеркнуть сиськи. У полных женщин часто большая грудь, чуть было не сказал – вымя, хотя грубо, конечно, так говорить, даром что у толстушки какой-то телячий взгляд, не сказать – телочий. Большие такие глаза, бессмысленные, еще и подведенные дешевой тушью, которая уже течет по щекам. Да, одним зонтиком трех человек не накроешь.

И Мореухов отдает зонтик: Держите, девчонки! – а сам выскакивает под дождь, запрокидывает голову и делает из горла два больших, от всей души, глотка. Внезапно резкой вспышкой: *Что я здесь делаю, а?* Может, впрочем, не было тогда никакого *что я здесь делаю*, так, обманное воспоминание, абберрация памяти, никогда не доверяйте флэшбэкам. Может, стоял тогда Мореухов под дождем, задрал голову к сумрачным небесам, отряхиваясь, как собака, вышедшая из воды, стоял и ничего такого не думал, холодные капли на небритых щеках, промокшая куртка, дырявые кроссовки... и в этот момент толстушка спрашивает: *А любовь? Вы верите в любовь?* – и Мореухов, оторвавшись от бутылки, говорит:

– Да, конечно. Как можно не верить в любовь? Любовь существует, она придает смысл нашей жизни, без нее мы были бы никто и ничто. Она всегда – с первого взгляда, даже если ты об этом с первого взгляда и не знаешь.

И вот Мореухов говорит, две девчушки слушают, прижимаются друг к другу под куполом зонта, передают друг другу бутылку, и он замечает, что они похожи: мокрые волосы, слишком яркая помада, слишком раскрасневшиеся лица, слишком хриплые голоса. Голоса, кстати, может, и в самый раз, кто ж знает, сколько времени они уже пьют, первая это бутылка, вторая или пятая. Кто ж знает, познакомились они только что, здесь, у магазина, обе уже бухие, или, наоборот, одна пришла к другой в гости, скажем, на день рождения, скромный такой девичник на двоих, выпить чаю, поговорить про любовь, кино какое-нибудь посмотреть, купила только бутылку сухого, неудобно ведь с пустыми руками, а потом нашлась еще одна... Что, кстати, значит *нашлась*? Где она до этого была? – ну, да неважно, значит, еще одна, а потом – догнаться к ларьку, а потом вернуться, не дойдя даже до подъезда, вино как-то слишком быстро кончилось, и тут появляется Мореухов: *А что, девчонки, вы по вину? Может, лучше водки?* – и в самом деле, на водку денег как раз хватает, опаньки, вот и стоят, почти обнявшись, под одним зонтом, слушают незнакомого бухарика про любовь с первого взгляда – вот, кстати, и поговорили, как и собирались с самого начала.

– А измена? – спрашивает та, что повыше. Вот как ты думаешь, можно изменять, если любишь? – Мореухов протягивает руку за бутылкой, делает глоток, еще один, вытирает мокрый лоб и отвечает:

– Нет, никак нет, если любишь – изменить нельзя. Даже если с другой ебешься – изменить нельзя. Потому что любовь – такое дело, она либо есть, либо нет. И пока она есть – измена невозможна. А когда ее нет – какая же это измена?

И вот тут-то Мореухов точно думает: *Что я здесь делаю, а?* – и в ту же минуту вспоминает про акцию Дубосарского пятилетней, что ли, давности.

Если в двух словах, история была такая: Сорос или еще какой-то фонд решил вывезти московских художников в российскую глубинку. Их посадили на пароход и пустили вниз по Волге. Во всех городах они выходили и выступали перед публикой. Мореухова тогда еще звали на подобные мероприятия, но Мореухов туда уже не попадал, потому что как раз перед началом выставки – а в данном случае перед посадкой на пароход – у него случался запой. По Волге, значит, он так и не сплавал, зато кто-то рассказал, что в одном городе Дубосарский провел акцию.

Там стоял памятник, типа две солдатские головы. Дубосарский задрапировал постаменты какими-то оранжевыми тряпками, а посередине смастерил помост с дыркой. Просунул туда свою голову, получилось три головы. И все жители могли подходить и задавать вопросы. Они и подходили, едва ли не выстроились в очередь. При этом Дубосарский отвечал совершенно серьезно, без стеба, что даже как-то неожиданно для такого художника.

Вот и Мореухов сегодня работал такой говорящей головой. Не хватало оранжевого буддийского одеяния, да и публика, если честно, подкачала: две (полу)пьяные девицы, мордочка той, что пониже, страдальчески морщится, похоже, она сейчас блеванет, а та, что постройнее, все еще зачарованно смотрит на Мореухова и спрашивает: А вот ты мужчина, вот ты скажи: мужикам – им чего от баб надо? Мореухов уже открывает рот, чтобы, как Дубосарский, откровенно ответить: Нам всем нужна любовь, – но вдруг ему становится противно. В самом деле, думает он, что я выкаблучиваюсь, словно какой-то современный художник? Зачем я говорю высокие слова напоказ, под две тысячи грамм, даже без закуски? Мне что, вообще все равно, кому вещать, кому лапшу вешать, кому на мозг капать? Двум прошмандовкам, юным алкоголичкам, красногубым мокрощелкам? Вечная любовь? Что за чушь я несу, пусть я даже во все это верю, но все равно – что за чушь? Кому я это говорю, тоже мне, святой Франциск, все на продажу, пейзаж после битвы, пепел и алмаз, стыд и срам. Смотри хотя бы, с кем пьешь! Еще про искусство с ними поговори, про Вонга, блядь, Кар-Вая, еще задай им сам какой-нибудь вопрос, спроси, например: *что я здесь делаю, а?* Поговори, поговори, пока они допивают твою водку!

Он отбирает у кудрявой бутылку, поспешно делает последний глоток, швыряет об асфальт, звон стекла, руки скрючивает судорогой, рот раскрывает в крике: Пизда нам от вас нужна, бляди, а вы что думали? Вечная любовь? Давай, сука, задери юбку, покажи дырку, а ты, толстуха, стань на колени, открой ротик, отсоси разик, – и Мореухов уже начинает расстегивать ширинку, а та, что пониже, клонится к земле, будто и в самом деле собирается стать на колени, но внезапно дергается и блюет прямо в лужу. Вода сразу разносит остатки непереваренного обеда по мостовой, словно обломки кораблекрушения.

Вот тебе и минет, думает Мореухов, с размаху целит пятерней в лицо, попадает по уху, выкрикивает: *С днем рождения, сука!*

28. 1975 год. Московская элегия

Пыльный вечер, московское лето, семьдесят пятый год. Больничный двор и две фигуры: сразу видим огромный живот, словно воздушный шар, спрятанный под платьем, словно бутон цветка, словно... впрочем, нет, не так. Попробуем иначе:

УГАСАЛ БЕСКОНЕЧНЫЙ ВЕЧЕР ПЫЛЬНОГО МОСКОВСКОГО ЛЕТА,

когда Александр Михайлович Мельников осторожно вел серебристого ангела с большим животом через широкий больничный двор. Маленькая моя девочка, думал он, придерживая за острый локоток Лёльку Борисову, маленький мой ангел, я ведь так и знал, что поведу тебя в роддом, беременную, покрасневшую, подурневшую, но все такую же прекрасную, набухшие грудки, вёнки, выступающие на ногах, хвостик светлых волос, выбритая щелка между ног, норка, в которую мне уже никогда не забраться.

Лёля шла, осторожно переступая, прислушиваясь к толчкам внутри, не замечая, как темнеет синева и где-то вдали последний отблеск заката золотит московское небо. Ей хотелось, чтобы при этом в голове складывались волнующие поэтические строки, но, как назло, ни одной не приходило в голову.

Для героини *романа о поздних шестидесятых – ранних семидесятых* Лёля нетипична. Она, конечно, богема, пишет стихи, все такое, но она не плакала, когда танки вошли в Прагу, не спала со всеми великими московскими джазистами, скульпторами, врачами, писателями – и никто бы не заподозрил, что она стучит, потому что стучать ей было не на кого и незачем. Поэтому в одну палату к ней – чтобы отразить эпоху – мы положим Милку Плещееву, Ленку Белоусову, Аньку Бормашинер и всех прочих красавиц поколения поздних шестидесятых, которые – воображаем мы – внезапно одновременно решили: пора завести потомство, пора осчастливить чадами похотливых мужиков, козликами скачущих из одной постели в другую, пора, мой друг, пора. Ах, красавицы уходящей эпохи, проституточки, студенточки, стучачки!

И вот мы вздыхаем в поисках жанра, а тем временем Александр Михайлович Мельников глядит на светящиеся окна роддома и, тоже вздохнув, уходит в сгустившиеся сумерки.

Ночь опускалась, ночь опускалась...

НОЧЬ ОПУСКАЛАСЬ

на московский двор, на пыльные стволы лип, опускалась под крики доминошников за столом, под шум телевизора в раскрытом окне, опускалась на Танечку Мельникову, которая осторожно открывала скрипучую дверь подъезда. Автомобиль, еле слышно шурша, вылез из подворотни. Шаг, еще один. Звонок в дверь – и вот на пороге возникает монументальная фигура Джамили Тахтагоновой.

– Доченька, – говорит она.

Танечка Мельникова падает заплаканным раскосым лицом на материнскую грудь, и тут же начинает рыдать трехлетняя Эльвира, которая не понимает, куда они поехали так поздно ночью, почему мама тащит тяжелый чемодан и тянет ее за руку, а вот теперь всхлипывает у бабушки на груди.

Отставной подполковник МГБ Василий Шанцов прилип к дверному глазку. Да, конечно, как бы мы обошлись здесь без гэбистских сук, старых палачей? Вот и не обошлись. Не беда, что по сюжету ему нечего тут делать, вот же он, стоит у глазка и бормочет: «Ага, бросил тебя муженек-то. Нечего было шастать, нечего было нос задирать. Мать, мол, героиня войны, снайперша. Знаем мы этих снайперов, что татары, что чечены. Проверить еще надо бы – не из Крыма ли. Проверить еще надо бы – в кого она там стреляла, старая карга».

А молодая татарочка очень даже ничего, думает Шанцов. Ишь как плечики вздрагивают. Кровь так и пихает в основную жилу.

ТЕРПЕТЬ ВСЕ ЭТО НЕ БЫЛО УЖЕ СИЛ.

Постоять несколько минут в тишине. Сохранить хотя бы остатки человеческого достоинства. Не смотреть на короткую записку на столе, на опустевшие полки в шкафу. Я снял телефонную трубку, набрал номер тещи.

– Алло, – сказала Таня простуженным голосом.

– Танька, это я.

Бросила трубку. В пустой квартире гудок разносился как сирена скорой помощи.

Я прошел в родительскую комнату – мать с отцом были в Сочи, – порывшись в шкафу и достал бутылку «Столичной». Зачем-то внимательно прочитал этикетку, посмотрел на знакомый среднерусский пейзаж, сердце России, настойка живой воды, заглянул внутрь, затем встряхнул, сделал первый глоток – и сразу вернулась молодость, одушевление предметов, предчувствие любви и дикие ритмизированные сны,

ТАИНСТВЕННЫЕ, КАК ЮНОШЕСКИЙ ОНАНИЗМ

Татьяна, Танечка, татарчонок мой
трамвайный скрежет
в стуке каблуков
скупые фонари над проводами
где сброшен я, как будто с парашютом
в Европы ночь, в мою любовь к тебе
я помню – поднимала свою блузку
чулок спускала, обнажала ногу
таким макарон подготовив бегство
куда теленка своего гонял
я ночь за ночью, здесь, на раскладушке
и все, что было раньше, уходило
я забывал о Лёльке и о Васе
я помнил только Эльку и тебя

Где же ты, моя родная, далекая и нежная, безбрежная, кромешная, раскосая без просыпу, грудки-незабудки, дочки-сосочки

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.